

Анджей
Иконников-
Галицкий

ТРИ АЛЕКСАНДРА И АЛЕКСАНДРА:

портреты
на фоне
революции



Ан. Иконников-Галицкий



Александр Блок.



А. Р. Трин



Аноллон Тау.



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Анджей Иконников-Галицкий

**Три Александра и Александра:
портреты на фоне революции**

«Издательство К.Тублина»

2017

УДК 82-94
ББК 84 (2Рос-Рус)6

Иконников-Галицкий А. А.

Три Александра и Александра: портреты на фоне революции / А. А. Иконников-Галицкий — «Издательство К.Тублина», 2017

ISBN 978-5-8370-0836-8

В увлекательной форме автор рассказывает о бурных, полных испытаний и приключений судьбах четырёх знаменитых литераторов и общественных деятелей – А. С. Грина, А. В. Амфитеатрова, А. А. Блока и А. М. Коллонтай. Персонажи эти различны – их характеры контрастны, творческие манеры несхожи, политические взгляды полярны. Героев книги соединяет одно: их жизненные и творческие пути тесно связаны с революцией и событиями 1917 года.

УДК 82-94
ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-8370-0836-8

© Иконников-Галицкий А. А., 2017
© Издательство К.Тублина, 2017

Содержание

Вступление	6
I	6
II	8
III	12
IV	14
V	17
VI	19
Сотворение волшебника	20
I	20
II	22
III	26
IV	29
V	33
VI	36
VII	39
VIII	41
IX	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Анджей Анджеевич Иконников-Галицкий

Три Александра и Александра

Портреты на фоне революции

© А. Иконников-Галицкий, 2017

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2017

© А. Веселов, оформление, 2017

* * *

Вступление

Между солнцем и бурей

Петроград, февраль-март 1917 года

I

Над убелённым Петроградом ликует ясное предвесеннее солнце.

Мы проплываем на невидимом дирижабле чуть ниже нижних облаков и наблюдаем странную картину. Белый лёд Невы, отражающий по краям солнечные наскоки, испещрён чёрными точками, одиночными, сконцентрированными в пятна, вытянутыми в цепочки. Точки движутся, как муравьи на берёзе. Это люди. Их тысячи, десятки тысяч. Они перемещаются, текут с севера на юг, с тёмного, закопчённого правого берега на чистый левый.

Увеличим разрешение.

Вот берег возле Литейного моста, спуск к Неве. На набережной, на подступах к мосту – толпа. Наш объектив выхватывает из толпы то одну фигуру, то другую. Невысокий коренастый мужчина в чёрном драповом пальто с барашковым воротником; другой, в полушубке, шапке и с усами; вот ещё один, тоже в драпе, размахивающий руками в тёплых вязаных рукавицах. Вот женская фигура в длинном, почти до земли, салопе, в клетчатом шерстяном платке, укрывающем голову и плечи; платок, впрочем, съехал набок, из-под него выбиваются русые волосы. Все эти люди очевидно возбуждены – то ли весело, то ли грозно. В их лицах – странная решимость. Вон другие фигуры в пальто, тулупах, салопях, полушубках спускаются на лёд Невы и по основательно протоптанным коричневым дорожкам идут, чуть пригибаясь, с Выборгской стороны к тому берегу.

На мосту и кое-где на льду Невы людские ручейки и потоки наталкиваются на препятствия в виде цепочек фигур в серовато-зелёном и синем: это солдаты, полиция. Но стремление возбуждённых людей от окраин к центру так сильно, так непреодолимо, что остановить их не может никакая преграда. Люди обходят военно-полицейские заслоны, протаптывают новые дорожки на крепком льду, достигают левого берега, вливаются в кровеносную систему улиц. Здесь в чёрной людской массе всё чаще замечаются красные полотна импровизированных флагов и транспарантов.

Город охвачен судорожным движением. Его сосуды-улицы всё тяжелее наливаются чёрно-красной кровью. Возле больших перекрёстков и поперёк площадей ещё держатся серо-зелено-синие цепочки, и вокруг них наподобие тромбов густеют, концентрируются людские толпы. Вот-вот прорвёт; вот-вот лопнет всеобщее сердце.

Трамваи уже не ходят – вагоны замерли там, где их захлестнуло. Вон стоит один на Литейном, с выбитыми стёклами. Растерянно топчется по усыпанному стеклом снегу вагонновожатый. Кондуктор тупо смотрит в незакрытую ведомость, где вверху справа каллиграфически выведена дата:

«Воскресенье, 26 февраля 1917 года».

До всеобщего восстания в Петрограде осталось двадцать часов; до отречения государя императора – четверо с половиной суток.

Треск винтовочных выстрелов доносится вдруг до нас, перекрывая людской гул. На лицах этих чёрных мужчин и женщин, в их глазах каждый звук стрелкового раската рождает новый отблеск: страх и ненависть. Всё страшнее и всё ненавистнее становятся эти серые, карие, голубые, зелёные, чёрные глаза.

Мы испугались; мы улетаем на нашем волшебном аэростате подальше от центра имперской столицы, куда-нибудь на север.

Но успокоения не находим.

Где-то вблизи Парголова по шоссе в сторону Петрограда движутся человеческие фигурки – по одиночке и группами.

Вот размашистым шагом идёт один человек. Приблизимся к нему. В чёрном потёртом драповом пальто и в круглой шапке серого каракуля, он роста выше среднего, ширококостный, длиннолицый, темноусый. Движения его размеренны и упорны, как у человека очень усталого, но привычного к изнурительной ходьбе. Лет ему на вид под сорок. Сосредоточенный взгляд, угрюмство в складках крупно слеplенной физиономии. Чем-то нам знакомо это лицо. Давайте состарим его лет на десять, добавим всезнающей печали в глаза, покроем черноморским загаром кожу, обрaдим светлой летней одеждой...

Узнали? Конечно: «Алые паруса», «Бегущая по волнам»...

Это Александр Грин, писатель, по документам – Александр Степанович Гриневский, шагает по парголовской дороге в сторону Петрограда.

II

Александр Грин, из очерка «Пешком на революцию»:

«...От Шувалова до Петрограда Выборгское шоссе представляло собой сплошную толпу. <...> От Озерков я шёл один. По дороге я видел: сожжение бумаг Ланского участка, – огромный, весёлый костер, окружённый вооружёнными студентами, рабочими и солдатами; обстрел нескольких домов с засевшими в них городовыми и мотоциклетчиками, шёл сам, в трёх местах, под пулями, но от усталости почти не замечал этого. Утро это, светлое, игривое солнцем, сохранило мне общий свой тон – возбуждённый, опасный, как бы пьяный, словно на некоем огромном пожаре. Железнодорожные мосты, с прячущейся под ними толпой, осторожные пробеги под выстрелами пешеходов, прижимающихся к заборам; красноречиво резкие перекаты выстрелов, солдаты, подкрадывающиеся к осаждённым домам; иногда – что-то вдаль, – в пыли, в светлой перспективе шоссе, – не то свалка, не то расстрел полицейского...»

Когда именно Грин пришёл во взвихренный революционными ветрами Петроград, мы не знаем. В своём очерке он не называет дат. Высланный из столицы за вольнодумные высказывания, он с ноября месяца жил на станции Лоунатйоки, что в семидесяти верстах от берегов Невы. Оттуда, взволнованный слухами, отправился пешком к Петрограду, когда поезда уже не ходили. Перестали же они ходить, насколько нам известно, 28 февраля: в сей день телеграф распространил приказ комиссара Временного комитета Государственной думы Бубликова о приостановке железнодорожного движения вокруг Петрограда. Если Грин начал свой путь во вторник, 28 февраля, то в городе оказался в четверг, 2 марта. Этому соответствует и описание виденного. Уже свершилось всеобщее восстание, уже созрел в телеграфном пространстве меж Петроградом и Псковом незримый и вожденный плод: текст манифеста об отречении Николая. Сумбурные перестрелки отгремели в центре столицы, и там на улицах и площадях уже царило неизъяснимое краснофлаговое весеннее ликование. По окраинам же вовсю плясали кроважадные языки революционного пламени; пестросоставные толпы, в которых гражданские смешались с солдатами и с уголовной шпаной, ещё громили полицейские участки и добивали городских.

В последующие дни по прокуренным углам редакционных комнат больших и маленьких петроградских изданий беспокойно сновали мартовские солнечные зайчики; со всей возможной быстротой скрипели перья, стучали клавиши ремингтонов и ундервудов. Репортеры, фельетонисты, редакторы, прозаики и поэты, стоя за конторками или расхаживая в папиросном дыму по скрипучим половицам, сочиняли, карябали, диктовали пишмашинным барышням стихи, очерки, статьи, патетические дифирамбы и ехидные юморески – всё на одну актуальную тему, всё о революции. Клеймили проклятое недавнее прошлое, умилялись светлому будущему, бранили Николашку, издевались над мёртвым Распутиным и живой Александрой-немкой... Спешили, как будто предчувствовали, что пир свободы продлится недолго, что им уже накрывают другой стол, полный горьких блюд... Предчувствовали, но не верили.

Грин, может быть, меньше других поддался этой припадочной эйфории. Но в журнальную круговерть бросился с энергией одинокого тридцатилетнего человека, только что вытасченного событиями из пучины тоскливой ссылки. Стихи и проза потекли рекой в издания с привкусом бульварщины: «Двадцатый век», «Синий журнал», «Петроградский листок»... Самый солидный из журналов, с которыми знался Грин – «Новый Сатирикон», руководимый и направляемый жизнелюбивым Аркадием Аверченко.

Неизвестно, когда Грин заглянул в редакцию «Сатирикона» в первый раз после своего возвращения из кратковременного небытия. Вероятно, скоро: в марте. Допустим, что это случилось числа, например, семнадцатого-восемнадцатого, в пятницу или в субботу.

Шла пятая седмица Великого поста – о пустынножителе Иоанне Лествичнике и о Марии Египетской пели в храмах, однако сие никак не отзывалось на улицах весеннего, непомерно суетного Петрограда. Творились великие дела. Отрекшийся император был арестован и содержался с семьёй в Царском Селе. Во время дозволенных прогулок на него можно было посмотреть через решётку ограды: вот он, диковинный зверь, аспид и василиск, левиафан, китоврас, единорог – маленький, аккуратный, в шинельке, чёрные круги под глазами. В Петропавловку, в тюремные камеры, пустовавшие до революции, свезли министров, сановников и прочих властных знаменитостей старого мира; над ними должен был совершиться грозный и справедливый суд. Декретами Временного правительства была упразднена полиция, а через несколько дней, в дополнение к амнистии политической (от 3 марта), последовала воля для уголовных: тех, кто отбыл половину срока и более, отпустили на свободу. (Вскоре отпустят и всех остальных). Петроград не знал покоя ни днём, ни ночью. Митинги, шествия, красные флаги, банты на пальто, шинелях и куртках (тоже красные), стрельба в воздух и подсолнуховая шелуха на мостовых (городовых нет, можно плевать на мостовые – воля ведь!).

По этой шелухе, покрывшей шуршащим слоем торцы и булыжник Невского проспекта, Грин притопап своей размашистой, твёрдой походкой к дому 88: там, по соседству с синематографом «Унион», с предвоенного времени удобно и вальяжно, по-аверченковски, расположилась редакция «Нового Сатирикона».

Л. Лесная (Лидия Шперлинг), секретарь редакции «Нового Сатирикона», из воспоминаний об Александре Грине (1917 год, март, точная дата не указана):

«В открытую форточку врывались тенора разносчиков:

– Огурчики зелёные! Огур-чи-ки...

Застучали лошадиные подковы о торцы мостовой, а в «Вене» пили «Майтранк», то есть в зеленюватых бокалах белое вино, на поверхности которого плавали листочки петрушки. Короче говоря, началась весна. <...>

Звонок. Открываю дверь. Грин.

– Я увидел свет в окне. Зашёл узнать, по какой причине.

– Собираюсь уходить. Работы много. Авторы волнуются.

– Да, авторы. Такой мы народ, нетерпеливый. А меня, знаете, моя хозяйка-ведьма не впускает в квартиру. Я задолжал за месяц.

– Посидите. Покурим.

Он сел. Закурили».

Интересно, когда это Грин успел задолжать за месяц, если явился в город две, много – три недели назад? Лукавил, должно быть, рассчитывая на аванс. Впрочем, не Лидии было решать вопросы денежных выплат. Дверь растворилась по мановению властной руки, и в редакцию вошёл Аверченко. Большой, розовощёкий, полногубый, весело сверкающий золотыми дужками пенсне.

– А, вон это кто! Бродяга романтик «в остром обществе дамском»! Здравствуйте, Лидочка, вы прекрасны сегодня даже больше, чем всегда. Здравствуйте, здравствуйте, Александр Степаныч. Иду мимо, вижу – свет в окнах. Дай, думаю, посмотрю, кого это занесло в такой час в родные пределы.

– Ах, Аркадий Тимофеевич, вот Александр Степаныч опять мрачно курят и даже не ухаживают как следует за барышнями.

– Что так, любезный Дон Кихот Синежурнальческий? Кругом революция, веселье, а вы?

– Ах, Аркадий Тимофеевич, да Александр Степаныч опять жалуются на безденежье, хозяйка, мол, с квартиры сгоняет...

Разговор продолжался некоторое время в таком же шутиливом тоне. Говорили больше Аверченко и Лидия; Грин лишь изредка вставлял слово и усмехался в усы.

– Господин заядлый пессимист, – произнёс наконец жизнерадостный Аверченко, – денег я вам сегодня не дам, но не плачьте: аванс будет через недельку. А теперь бросьте вашу черную мерехлюндию, идём обедать к Альберту.

Вышли на освещённый Невский, пешком направились в сторону Адмиралтейства. Главная магистраль российской столицы ещё мало была тронута революционными красками. Облик домов, лавок, ресторанов, витрин совсем не изменился, ежели не считать красных полотнищ на фонарях и в окнах первых этажей. Совершенно исчезли городовые, дежурившие раньше на каждом углу. Навстречу необычайно много попадалось новой публики: солдат в расстёгнутых шинелях; молодых рабочих в картузах и русских рубашках, надеваемых под пиджаки; а главное – девиц странного вида и поведения, шумных, растрёпанных, громко хохочущих. Вся эта публика лузгала семечки и с остервенением сплёвывала шелуху на тротуар.

Неторопливо дошли до набережной Мойки, над которой на втором этаже старинного углового дома светил электричеством ресторан Альберта. Перед тем как войти, Аверченко остановился, повернулся к Грину и с загадочной нотой в голосе произнёс:

– Признавайтесь, уважаемый, ведь вы хотите выпить?

– Несомненно, дорогой патрон. Но ведь запрещено, хоть и революция.

– Ничего. Будем чай пить. Я угощаю.

Произнеся эту фразу, Аверченко толкнул дверь. Швейцар кинулся навстречу. Сбросив ему на руки свои пальто, литераторы прошли и уселись за столик в глубине небольшого зала. Подбежал официант.

– Нижайше кланяемся, Аркадий Тимофеевич, счастливы видеть, давненько у нас не бывали. Чего прикажете? Как обычно, или...

– Дай-ка нам, братец, чайку, такого, как я люблю...

– Уж это как водится!

– И севрюжинки с хреном. Ну и там что надо, понимаешь...

– Как же, Аркадий Тимофеевич, понимаем, сию минуту.

Моментально принесены были два белых фарфоровых чайника. Аверченко улыбнулся, налил в чашки.

– Пейте, друг мой, залпом, чай холодный.

Выпили одновременно. Грин крикнул и усмехнулся:

– Английская горькая?

– Она самая. Из того чайничка запейте: там портвейн, и, должно быть, недурной.

(...Любопытно. В этом же доме, как раз под залом, в котором сидели, попивая крепкий «чай», наши герои, помещалась когда-то кондитерская Вольфа и Беранже; 27 января 1837 года Пушкин встретился там со своим секундантом Данзасом и вместе с ним отправился на Чёрную речку, к месту смертельной дуэли. Что касается Грина, то в перерывах между чашками он наверняка поглядывал в окно и мог видеть напротив, за оживлённым пространством Невского, известный всем петербуржцам дом Елисеевых. Но не мог знать, что где-то в недрах этого дома, переименованного новой властью в Дом искусств, в узкой тёмной комнатёнке он в недалёком грядущем будет переживать голодные годы Гражданской войны, и там напишет «Алые паруса», и там, спасаясь от тифозной смерти, обретёт животворное счастье...)

Когда через два часа литераторы выходили из ресторана, Аверченко пребывал в великодушном, добродушном настроении; щёки его были розовее обычного, глаза блестели за стёклами пенсне. Возможно, по причине усилившейся близорукости он не разглядел господина, шедшего поспешно и тяжело по противоположной стороне Невского. Грин же не обратил на этого господина внимание, потому что был уже характерным образом беспокоен и мрачно-рассеян, что случилось с ним на переходе от умеренной стадии пьянства к чрезвычайной. Литераторы распрощались; Аверченко кликнул извозчика, а Грин запахнул чёрное пальто и двинулся решительно во мрак мартовской ночи.

III

Господин, которого не заметили приятели-сатириконовцы, был крупен, полноват, одет хорошо, но несколько небрежно. Лет ему было изрядно за пятьдесят. Его круглое полнощё-кое лицо было отягощено большой седоватой растрёпанной бородой. Лицо это было знакомо Грину по фотографиям; вживую он крупного господина никогда не видел, хотя их литера-турные подписи появлялись на полосах одних и тех же изданий: «Огонька», «Нивы», «Пет-роградского листка».

Господин, постукивая тростью, подошёл к трамвайной остановке, дождался вагона, важно поднялся на площадку, вручил кондуктору гривенник и отправился по рельсовому пути на Петроградскую сторону. У реки Карповки вышел, прогулялся по туманно-осве-щённой набережной до ворот нового шестиэтажного дома с просторным курдонёром, был впущен степенным дворником внутрь, вступил в тёмный подъезд, поднялся по лестнице и скрылся за дубовой дверью, на коей в неверном ночном освещении блеснула медная дощечка с надписью: «А. В. Амфитеатров».

Плодовитейший литератор, автор острых политических очерков, творец многотомных романов с продолжением, любимец коммерческих издательств, Александр Валентинович Амфитеатров мог себе позволить жить со своей немаленькой семьёй в просторной квартире кооперативного дома для богатых. Не прошло полугода, как он вернулся из-за границы, ибо до этого более десяти лет проживал в Италии, в прекрасных уголках Лигурийского побере-жья: в Кави ди Лаванья, в Феццано, в Леванто. Мировая война, русский патриотизм и поли-тические расчёты сподвигли его вернуться под сень крыльев российского орла; на счастье или на беду – об этом он узнает через год-другой. С имперским орлом, однако, он успел поссориться сразу же по приезде и за публикацию фельетона-криптограммы с зашифрован-ными, но всем понятными выпадами против правительства был выслан из столицы в отда-лённые места Сибири.

Александр Амфитеатров, из очерка «Империя большевиков»:

«В самый канун Февральской революции 1917 года последний царский пре-мьер-министр, пресловутый Протопопов, отправил меня в Ачинск за газетную полемику против его безумной внутренней и бесчестно германофильской внешней политики. Слиш-ком поздно: я успел доехать лишь до Ярославля и там вступить в борьбу с губернатором, отбарахтываясь от дальнейшего следования, как грянувшая революция уже возвратила меня в Петроград».

Об отречении императора стало известно в Ярославле 3 марта; выехать оттуда вчераш-нему ссылке стало возможно не раньше 4–5 марта, когда распространено было сообще-ние о политической амнистии и губернаторы заменены комиссарами Временного правитель-ства. Итак, Амфитеатров вернулся в Петроград на несколько дней позже Грина, вероятно, числа шестого. Стрельба на улицах улеглась, и кровь на мостовых высохла; это была первая кровь великого кровавого потопа, но об этом ещё никто не догадывался.

Как и все слетавшиеся в Петроград изгнанники, как и все обитатели Петрограда вообще, Амфитеатров был захвачен революционно-деятельной лихорадкой. Он мотался по редакциям, беседовал, выступал, спорил, писал... Он был нарасхват, он возвращался домой поздно, и только крепкая, потомственно поповская его природа давала возможность выдер-живать эту гонку. Не молод уже: пятьдесят шестой год.

Когда Александр Валентинович вернулся домой после неслучившейся встречи с Гри-ном, его домочадцы уже почивали. Пройдя мимо спальни, он прислушался к тихому похра-пыванию жены и с бесшумностью, удивительной при его грузной комплекции, на цыпочках

проследовал в кабинет. Там он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, сел в покойное кожаное кресло у курительного столика, достал из коробки папиросу, закурил. Все вышеперечисленные действия свидетельствуют о намерении отдохнуть после трудного и беспокойного дня.

Внезапно Амфитеатров встал, положил папиросу в латунную пепельницу, украшенную фигуркой сидящей лопухой собачки, прошёлся по кабинету с думой на лице. Его беспокоило пустяковое воспоминание. Сегодня, ближе к вечеру, проезжая на извозчике по Загородному проспекту, он увидел в толпе, вытекающей из широких врат Царскосельского вокзала, человека в военной форме, кажется, унтер-офицера (издали знаков различия не разглядеть, а шинель как у старшего унтера). Унтеров в Петрограде было пруд пруди, десятки тысяч – гарнизонные, отпускные, командированные, выздоравливающие, – и все они были друг на друга неуловимо похожи: молодцеватые, глазастые, скуластые, с усами наизготовку и в фуражках набекрень. А этот – совершенно иной, и всё в нём иное. Военная форма шла ему, но сидела как-то необычно, как доспехи на рыцаре. Особенное благородство черт, неуместное в революционной столице, выделяло его рослую фигуру из пёстрой военно-гражданской толпы. Не холёно-бесцветное благообразие имперской аристократии, а какое-то иное благородство, возвышенное и в то же время грубоватое. Кто он? Явно не из солдат, и вообще человек не военный: выражение лица совершенно гражданское. Лицо, да, лицо – эти крупные, правильные аполлонические черты... Лицо, безусловно, знакомое.

Вот бывает же: увидишь знакомую физиономию в толпе и потом несколько дней мучаешься, не можешь вспомнить, кто это такой и откуда ты его знаешь.

Александр Валентинович походил по кабинету, погладил бороду, снова закурил и снова положил папиросу в пепельницу. Облик, увиденный в толпе, не давал покоя. Но выудить из глубин памяти связанные с ним воспоминания никак не удавалось. Только что-то очень смутное: хмурое небо, паровозные свистки, топот солдатских сапог... И почему-то – хищная птица, раскинувшая крылья в небе...

Амфитеатров собрался идти спать. Открыл книжный шкаф, чтобы убрать оставленные утром на письменном столе книги. Откуда-то сверху вдруг выпорхнул газетный листок: «Русское слово» за прошлый год. Перед глазами промелькнул заголовок крупным шрифтом: «Коршун», и стихотворные строки: «Чертя за кругом плавный круг...» Тут же в памяти всплыло и другое: «Петроградское небо мутилось дождём, на войну уходил эшелон...»

Александр Блок! Ну конечно, его лицо видел Амфитеатров в вокзальной толпе. Они никогда до этого не встречались, но фотографии Блока попадались Амфитеатрову у знакомых и, кажется, где-то в печати.

Неужели Блок? Или кто-то, несказанно похожий на него, похожий не только внешне, но и внутренне?

Но ведь Блок в армии, полгода как на фронте. Неужто он тоже приехал сюда, в эпицентр мирового землетрясения, дышать воздухом революции?

IV

Да, это действительно был Блок – репортёрский глаз Амфитеатрова профессионально зорко выхватил его образ из толпы. Вскоре после отречения государя Блок, как и многие другие полустатские военные, получил отпуск. Отбыв позавчера поздним вечером из воинской части, дислоцированной близ местечка Парохонск в Пинских болотах, через Лунинец, Мозырь, Могилёв, Витебск, Невель, Дно прибыл на Царскосельский вокзал Петрограда.

Выйдя из вагона под сень чугунных кружев нового Царскосельского вокзала, Александр Блок постоял минуту, с интересом огляделся вокруг, застегнул верхнюю пуговицу двубортной шинели, подхватил небольшой свой чемоданчик и двинулся к выходу. Оказавшись на площади перед вокзалом, он вновь остановился.

Открывшееся перед ним поразило его. Это был тот же город, в котором он прожил все тридцать шесть лет своей жизни, и это был совершенно другой город. В той же плоти другая душа. Следа не осталось от прежней петербургской чопорности, холодной стройности. Всё крутилось, вертелось, двигалось, говорило, кричало, звенело в десять, в сто раз беспокойнее, чем раньше. Всё как будто сдвинулось со своих мест и перемешалось. Сразу же бросилось в глаза множество солдатских шинелей и вообще обилие всякой публики, о существовании которой раньше можно было не знать, живя в Петербурге годы. Те людские слои, которые в пространстве прежнего Петербурга перетекали не смешиваясь, как масло и вода, теперь представляли взору во взбудораженном муравейном единстве. Особенно это было заметно, если глядеть по низу и по верху толпы. Сбитые башмаки и рваные галоши трепались по непривычно грязной мостовой вперемешку со щегольскими ботинками и белоснежными гамашами; изящные дамские сапожки испуганно шарахались от стоптанных смазных сапог. Над ними кружили фуражки с кокардами и без, мятые картузы, приличные котелки, бобровые шапки, мохнатые треухи, солдатские папахи, модные шляпки с лентами и перьями, чёрные или клетчатые шерстяные платки. Люди, находившиеся между этим верхом и этим низом, разговаривали громче, чем прежде; их жесты и мимика были оживлённее, походка развинченнее; в глазах нередко (ох, нередко!) вспыхивал тёмный беспокойных блеск.

Впитывая в сознание сие никогда им не виданное зрелище, Блок направился к остановке трамвая. Он ехал – по Загородному, по Первой Роте, по Вознесенскому, по Садовой до Покровской площади – и всматривался, и вслушивался в то, что кипело вокруг него. Увиденное и услышанное рождало в душе нечто странное – смесь радости и страха, полёта и бездны. И какую-то даже растерянность. Как будто вдруг забыл – кто я, как меня зовут.

Осознавал время от времени, что дома его ждут мама и Люба, привычный кабинет, бутылка красного вина и чистая, горячая ванна. Но это не приносило успокоения.

Александр Блок, из записной книжки 1917 года:

«Начало жизни?

Выезд из дружины в ночь на 17 марта. Встреча с Любой в революционном Петербурге.
<...>

Я – “одичал”: физически (обманчиво) крепок, нравственно расшатан (нейрастения – д-р Каннабих). Мне надо заниматься своим делом, надо быть внутренне свободным, иметь время и средства для того, чтобы быть художником».

«Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей слабой силой) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?»

«Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дожидаться».

На следующий день, едва позавтракав, Блок нетерпеливо отправился гулять в город. Дошёл до Невы, до Английской набережной, ещё не утратившей великокняжеского лоска. (Кто бы знал, что тут вот через восемь месяцев взгромоздится серо-чёрная тень крейсера «Аврора», отсюда прогремят те самые выстрелы по Зимнему). У Благовещенского моста сел на трамвай и поехал на Петербургскую сторону, непривычно именуемую Петроградской, – в места своей юности. По дороге видел вспыхивающие в разных местах очаги стихийных митингов: людские фигурки слипались вокруг ораторов в плотные конгломераты, как опилки вокруг магнита. В вагоне пассажиры разговаривали тоже на митинговых, повышенных тонах.

Вышел на Каменноостровском проспекте, прошёлся по Карповке, мимо того самого дома, где вчера Амфитеатров курил в кабинете и мучительно вспоминал его, Блока, образ. Оплавленный и грязноватый весенний снег лежал по краям тротуаров и на крышах домов. Любуясь графикой голых деревьев, толпящихся за оградой Ботанического сада, Блок проследовал к Гренадерским казармам. Постоял, посмотрел на мощнее здание с колоннами, в котором прожил семнадцать лет, от возраста гимназиста-приготовишки до обретения литературной славы. Потом почему-то решил отправиться на Выборгскую сторону. По Гренадерскому мосту перешёл Большую Невку и, миновав Сампсониевский проспект, вскоре оказался на Лесном. Не ведая того, Блок шагал теперь по тем самым камням, по которым семнадцать дней назад шёл Грин, напрягая последние силы, – в сторону Финляндского вокзала.

Чем ближе к вокзалу, тем оживлённее становился проспект и примыкающие к нему улицы. Движущаяся людская среда густела, в ней преобладали тёмно-серые, чёрные, коричневые рабочие тона. Здесь мало было бобровых шапок, всё больше картузы и фуражки; совсем не виделось шляпок с перьями, но много попадалось простых шляп, иногда с вуалями, и платков. Прогрохотали один за другим три грузовика, их кузова были битком набиты фигурами в серо-зелёных шинелях и щетинились штыками, как ежи. Ясно было, что эти массы целенаправленно текут к вокзалу. Стали попадаться транспаранты – на красном кумаче наскоро намалёваны буквы: «Слава борцам за народное д#ло!», «Да здравствует республика!», «Въ борьб# обр#тёшь ты право своё!» На углу Финского переулка уже заварился какой-то импровизированный митинг. Голоса звучали резко и невнятно.

Александр Блок, из записной книжки 1917 года:

«Толпы народа на углах, повышение голоса, двое в середине насакивают друг на друга, кругом поплёвывают и посмеиваются. Это – большевики агитируют.

Идёт по улице большой серый грузовик, на нём стоят суровые матросы и рабочие под красным знаменем “Р.С.Д.П.” (золотом). Или – такой же разукрашенный, на нём солдаты, матросы, офицеры, женщины, одушевлённые, красивые».

Вслед за грузовиками Блок свернул в Финский переулок и через несколько минут был уже в толпе у Финляндского вокзала. Тут явно ожидали чего-то. Матросы, интеллигенты, рабочие, студенты, барышни стояли кучками и поодиночке, переминались с ноги на ногу, разговаривали, курили. Некоторые были с цветами. Солдаты и работницы лузгали семечки. Внезапно по толпе прошло шевеление; люди придвинулись к выходу из здания вокзала – как прихожане к амвону перед началом проповеди.

Тяжёлые двери открылись, из них стали выходить пассажиры; многие останавливались, глядя на сгустившуюся толпу, и, удивлённо озираясь, следовали дальше. Но вот показалась плотная группа прилично одетых господ (чёрные пальто, каракулевые шапки) и среди них две-три дамы. Из толпы раздались звонкие крики студентов и барышень: «Слава героям!», «Ура!», «Да здравствует свобода!» К вокзальному порогу полетели цветы.

Пугая работниц клаксоном, к поребрику тротуара подкатил автомобиль. Солдаты быстро откинули вниз борта кузова. На образовавшуюся площадку залез какой-то человек в

форменной кожаной тужурке автомобильного батальона с красным бантом на груди и красной повязкой на рукаве. В толпу ударили его хриплые выкрики:

– Граждане! Товарищи! Мы сегодня здесь... Проклятый царский режим... Страдальцы за нашу свободу... Наши товарищи, прибывшие...

Он так сильно выкрикивал начала фраз, что концы их совершенно пропадали в рокочущем хрипе. Но толпа, не понимая, улавливала смысл выкрикнутого и одобрительно шумела. Группа людей, вышедших из вокзала, продвинулась к автомобилю. Некоторые из них забрались на площадку, подсаживаемые солдатами. Вот солдаты подхватили на руки и подняли наверх даму средних лет, несколько полноватую, но моложавую. На фоне тёмно-серой толпы и грязно-снежной площади она выделялась, как пятно свежей краски на старом заборе. Светленькая шубка, муфточка, небольшая милая меховая шапочка, из-под которой выбиваются пышные стриженные волосы. Холёное личико, нежному овалу которого противоречит энергичный разлёт бровей. Рядом со сплёвывающими солдатами и хмурыми рабочими – нечто необъяснимое.

Зазвучали речи; говорила что-то и дама в шубке. Расслышать слова было невозможно, да и не нужно: люди кругом воспринимали не смыслы, а волны идейных излучений. Человек в кожанке выдыхал вместе с паром именина-фамилии выступавших ораторов. Перед тем, как дать слово даме, кинул в толпу:

– Товарищ! Александра! Коллонтай!

И что-то ещё про свободу, что Блок уже не мог разобрать.

Возвращаясь домой, он вспоминал необыкновенный образ: светская, светлая женщина в чёрном месиве мужских фигур, произносящая фразы о равноправии и социализме. Весенние лучи, искрящийся снег. Странное воплощение его, Блока, юношеских прозрений о Жене, облечённой в солнце... Александра Коллонтай. Знакомое, где-то слышанное имя.

V

Митинг закончился нескоро. Александра Михайловна в сопровождении товарищей отправилась в Таврический дворец, в Петросовет, когда солнце уже клонилось к горизонту за Адмиралтейским шпилем. Временами её настигало головокружение, то ли от счастья, то ли от усталости. Устала она ужасно. Сенсационные известия о событиях в Петрограде, об отречении Николая, о создании думского правительства застали её в Норвегии. Две недели решался вопрос о возвращении в Россию. Потом был переезд вместе с группой таких же, как она, политических эмигрантов через Швецию в Финляндию, бесконечные дорожные разговоры на повышенных тонах, в клубах табачного дыма – о революции, о войне, о политике, о будущем России, о земле и воле, о том, кто должен войти в состав будущего республиканского правительства. Наконец, поезд из Або в Петербург и эта встреча, радостная, но утомительная; этот митинг, вдохновительный, но отнимающий последние силы. Да, за восемь лет жизни в Европе она отвыкла от российской чехарды и свистопляски. Сегодня ещё будут встречи, разговоры, расспросы, а на завтра назначено заседание русского бюро ЦК большевиков, где ей необходимо присутствовать, и ещё с полдюжины мероприятий. Отдыха не предвидится. Кругом всё кипит, как в жерле вулкана.

Из письма Коллонтай Ленину и Крупской, март 1917 года: «Вот уже неделя, что нахожусь в водовороте новой России, яркость и сила впечатлений такова, что передать её даже не попытаюсь. Народ переживает опьянение великим актом. Говорю народ, потому что на первом плане сейчас не рабочий класс, а расплывчатая, разнокалиберная масса, одетая в солдатские шинели. Сейчас настроение диктует солдат. Солдат создаёт и своеобразную атмосферу, где перемешивается величие ярко выраженных демократических свобод, пробуждение сознания гражданских равных прав и полное непонимание той сложности момента, который переживаем».

Это письмо будет написано через неделю. Ещё через неделю, 2 апреля, совершится Христова пасха. На следующий день, в Светлый понедельник, товарищ Коллонтай с цветами в руках будет встречать Ленина – всё на том же Финляндском вокзале, обычно таком тихом и скромном. А сейчас она едет с вокзала к Таврическому дворцу. Едет на автомобиле, присланном, кажется, Временным правительством или каким-то из бесконечных комитетов. Вот и Литейный мост – то самое место, которое в начале нашего повествования мы наблюдали сверху, с воздушного шара. Лёд, истоптанный тысячами ног, блестит в лучах угасающего светила. Ярчайшие блики загораются на шпиле Петропавловского собора. Перед тем, как упасть за горизонт, солнце становится похоже на красное знамя. Александра Михайловна видит всё это, но не может испытать то чувство, которое охватывает всякого созерцающего гармонию невской панорамы предзакатного Петербурга. Её неутомимый разум занят митинговыми речами, социальными идеями, политическими планами, думами о завтрашних и послезавтрашних заседаниях и встречах.

Переехали мост, свернули на Шпалерную. Взгляд большевички-аристократки скользит по фасадам домов, отражается от оконных стёкол. Она не видит того, что происходит за ними, внутри. Она не замечает вывески «Трактирь» над первым этажом двухэтажного углового дома на пересечении Шпалерной улицы и Воскресенского проспекта. Там, в полутьме, в углу, за столом, покрытым не очень чистой скатертью, сгорбившись над чашкой, сидит Александр Грин. Он уже третий час сидит, потребляет, не закусывая, «революционный чай»; перед ним сменилось три чайника. Он пьёт, собственно, со вчерашнего вечера. Его большие руки с узловатыми пальцами напряжённо упираются в край стола, как будто готовятся

взяться за шкот или натянуть фалинь. Его взгляд устремлён за окно в надзвёздную даль, и он вряд ли видит проезжающий по улице автомобиль и спешащую навстречу извозчичью пролётку. Вот автомобиль и пролётка поравнялись – и исчезли из пределов видимости.

В пролётке один седок – Александр Амфитеатров. Он едет ужинать после журналистских встреч и бесед в Таврическом дворце с господами, близкими к Временному правительству. Он только что повстречался глазами с проезжающей эффектной дамой на заднем сиденье чёрного «паккарда» – и не отразил её в сознании, занятый своими мыслями. Дама тоже не заметила известного журналиста и беллетриста.

Наши герои продолжали путь – каждый в своём направлении.

VI

В течение суток, 18–19 марта 1917 года, в Петрограде встретились и разошлись четыре необыкновенных человека: Александр Грин, Александр Амфитеатров, Александр Блок и Александра Коллонтай. Три Александра и Александра.

Может быть, всё происходило не так, как мы описываем. Но происходило же, и как-то, похожим образом.

Эти четверо – совершенно разные люди в творчестве, в общественной деятельности, в жизни. Соединил их (а потом и развёл) 1917 год. Оказавшиеся не своей волей вдали от Петрограда (ссылка, эмиграция, военная служба), они вернулись к неврам берегам сразу же после начала великой и страшной русской революции. До этого времени они не были друг с другом знакомы. Впоследствии будут встречаться, разговаривать по телефону, здороваться, проходить друг мимо друга – и не сблизятся. Грин познакомится с Амфитеатовым в редакции какой-то из петроградских газет летом 1917 года. Блок будет готовиться к выступлению вместе с Коллонтай на собрании-митинге за несколько дней до открытия Учредительного собрания в январе 1918 года («От здания к зданию / Натянут канат. / На канате плакат: / Вся власть Учредительному собранию...»), но выступление не состоится. Грин попытается привлечь Блока к участию в беспартийной газете «Честное слово», затеянной в Москве голодным летом 1918 года; они поговорят об этом по телефону, но газета будет закрыта большевиками через неделю и надежды на сотрудничество испарятся. Трое – Амфитеатров, Блок, Грин – проведут немало дней и ночей под обледелой крышей Дома искусств (того самого, на Невском, напротив бывшего ресторана Альберта); в страшные мертвенные времена Гражданской войны и разрухи будут получать там скудные продовольственные пайки.

Сокрушительную поступь революции они услышат и воспримут по-разному. Коллонтай окажется в высших сферах новой власти (впрочем, там – на вторых ролях, а впоследствии и вовсе в заграничной дипломатической ссылке). Блок, ищущий в гибели правду, будет напряжённо слушать музыку революции, сблизится с левыми эсерами – поэтами разрушения; после их краха погрузится в творческое молчание. Амфитеатров новую власть возненавидит (и взаимно), убежит от неё за границу и оттуда будет вести с ней войну булавочным оружием газетной публицистики. Грин найдёт свой способ эмиграции: в страну литературного вымысла, в Зурбаган, Лисс и Гель-Гью; в его сознании уже тогда, в 1917 году, начинали вырисовываться контуры светозарных фигур Ассоль и Фрези Грант.

Да, пути их разойдутся и завершатся в совершенно разных точках времени и пространства. Сорокалетний Блок погибнет от неизвестной болезни в августе 1921 года. Грин, ровесник Блока, умрёт от рака в Старом Крыму в июле 1932 года. Политический эмигрант Амфитеатров скончается на семьдесят шестом году жизни в Италии, в Леванто, в феврале 1938 года. Самая долгая жизнь суждена Александре Коллонтай: пережив почти всех друзей и врагов, соратников и противников, она десяти дней не дотянет до восьмидесятилетия и покинет этот мир 9 марта (24 февраля по-старому) 1952 года, почти точно в тридцать пятую годовщину начала революционных событий в Петрограде.

1917 год – решающий в их судьбах: определил будущее, бросил отсветы на прошлое. Вот уж действительно узловая станция времени.

Сотворение волшебника Александр Грин

I

Кажется, у Хармса есть такая фраза (ею персонаж, он же автор, замышляет начать повесть): «Волшебник был высокого роста».

Эта фраза очень подходит для начала повествования о Грине.

Грин, конечно, был волшебник.

Никогда не объяснишь, как делается волшебство. Из чего оно рождается. На что оно похоже.

Во внешности Грина мемуаристы подмечают черты обитателя вымышленного мира – то ли сказочника, то ли тайного советника из новелл Андерсена. Высокий рост, худоба, чёрный сюртук, чёрная же шляпа; под её широкими полями – усталые, сумрачные глаза.

Виктор Шкловский, писатель, критик, литературовед: «...Я познакомился <...> с длиннотлицым, бритым, очень молчаливым человеком, тогдашнюю фамилию которого я забыл. Впоследствии узнал, что это был Грин».

Эдгар Арнольди, киновед и кинокритик: «Через минуту вошёл высокий худой человек. У него было удлинённое лицо, несколько выступающие скулы, высокий лоб, характерный рисунок носа. Запомнились сурово сжатые губы и вдумчивые усталые глаза. Это было лицо много пережив шего и передумавшего, выдавшего виды человека. Можно было догадаться, что жизнь его крепко обработала и изрядно исцарапала. Он протянул мне большую костлявую руку и представился:

– Беллетрист Грин».

Константин Паустовский, писатель: «Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами – тёмными, усталыми и внимательными. Он был в глухом чёрном костюме, блестящем от старости, и в чёрной шляпе. В то время никто шляп не носил».

Всеволод Рождественский, поэт: «Худошавый, подсохший от недоедания, всегда мрачно молчаливый, он казался человеком совсем иного мира».

Михаил Слонимский, писатель: «Это был очень высокий человек в выцветшей жёлтой гимнастерке, стянутой поясом, в чёрных штанах, сунутых в высокие сапоги. Широкие плечи его чуть сутулились. Во всех движениях его большого тела проявлялась сдержанность уверенной в себе силы. Резким и крупным чертам длинного лица его придавал особое, необычное выражение сумрачный взгляд суровых, очень серьёзных, неулыбавшихся глаз. Высокий лоб его изрезан был морщинами, землистый цвет осунувшихся, плохо выбритых щёк говорил о недоедании и только что перенесённой тяжёлой болезни, но губы были сжаты с чопорной и упрямой строгостью несдающегося человека. Нос у него был большой и неровный».

Иван Соколов-Микитов, писатель (в пересказе Владимира Сандлера): «Сухошавый, некрасивый, довольно мрачный, он мало располагал к себе при первом знакомстве. У него было продолговатое вытянутое лицо, большой неровный, как будто перешибленный нос, жёсткие усы. Сложная сетка морщин наложила на лицо отпечаток усталости, даже измождённости. Морщин было больше продольных. Ходил он уверенно, но слегка вразвалку. Помню, одной из первых была мысль, что человек этот не умеет улыбаться».

В портретных описаниях подчёркнута строгая вертикаль: длинное лицо, продольные морщины, худоба, очень высокий рост. Некоторыми особенностями внешности и поведения

он напоминает булгаковского Воланда (не исключено, что Булгаков, внимательно читавший Грина и встречавшийся с ним лично, использовал черты его образа при описании загадочного иностранца, появившегося на Патриарших прудах). На самом деле, по сохранившимся метрическим данным, волшебник был роста чуть выше среднего: 177 см. Приметы из следственного дела 1903 года: «Рост 2 аршина 7 7/8 вершка¹, волосы русые, глаза серые, взгляд коих угрюмый; лицо продолговатое, чистое, нос с горбинкой, рот и подбородок умеренные, усы чуть пробивались...»

Фраппированное воображение мемуаристов приподнимало его фигуру ввысь. Или он незаметно для окружающих парил близ земной поверхности, возвышаясь на десяток сантиметров над собственным ростом?

Очевидное расхождение мемуарных и документальных данных о Грине неудивительно: ведь такого человека на самом деле вовсе не было – по крайней мере, до марта 1907 года, когда из печати вышел свежий номер газеты «Товарищ» с подписью «А. С. Грин» под коротеньким рассказом «Случай». Да и позднее Грин то появлялся, то исчезал; в зеркале документов стал отражаться только в последнее десятилетие своей жизни.

А что же было на самом деле?

¹ Аршин – 71,12 см; вершок – 4,45 мм; 2 аршина 7 7/8 вершка – 177,28 см.

II

Было семейство письмоводителя, позднее делопроизводителя Вятской губернской земской больницы Степана Евсеевича Гриневского. Семейство непростое, не очень дружное, небогатое, хотя и не совсем бедное. В этом семействе, жительствовавшем в городишке Слободском, что в тридцати верстах от Вятки, 11 (23) августа 1880 года родился мальчик и через два дня был окрещён Александром в местной Никольской церкви. Так, по крайней мере, написано в документах. Волшебник Грин в автобиографии 1913 года поменял эту дату на 1881 год – возможно, для того, чтобы продлить возраст магического тридцатитрёхлетия.

Степан Евсеевич (или Евсеевич, от рождения Стефан Евзибиевич) происходил из шляхты Виленской губернии. В 1863 году, ещё гимназистом, он был арестован за участие в польском восстании (пытался, как сказано в деле, «сформировать мятежническую шайку»), сослан в городишко Колывань, что в предгорьях Алтая, затем переведён в Вятскую губернию. Со временем за примерное поведение был прощён великодушным самодержавным колоссом; ему разрешили поступить на службу и даже вернули права дворянства. Так из мятежного шляхтича образовался вятский обыватель, обречённый десятилетиями ходить на службу через унылые двери губернской больницы.

Ходить, правда, стало недалеко: весной 1881 года семейство Гриневских перевезло свой скарб по размокшей грязной дороге из Слободского в Вятку, в пределы больницы, где делопроизводитель обрёл казённое жилище. На телеге, влекомой ленивой гневной кобылой, помещались члены семейства: супруга Анна Степановна, урождённая Ляпкина², дочь отставного коллежского секретаря, и двое малышей: полугодовалый Саша и трёхлетняя приёмная дочь Наташа. У Гриневских долго не было детей; на седьмом году супружества они взяли из приюта девочку; через год родился мальчик – и почти сразу умер; и вот, ещё через год – Саша.

Невесёлую думу думал, наверно, Степан Евсеевич, вышагивая по вязкой хляби рядом с телегой – о вольном шляхетском прошлом и скучном провинциальном будущем. А впрочем, кто знает, про что он думал. О родителях Саши мало что известно. Анна Степановна произведёт на свет ещё двух дочерей, Антонину и Елизавету, и сына Бориса (после рождения первой дочери приемыша Наташу отдадут на воспитание чужим людям) и умрёт, не дожив до сорока лет. Через четыре месяца после её смерти Степан Евсеевич обвенчается со вдовой-чиновницей Лидией Авенировной Борецкой. В семью Гриневских войдёт её одиннадцатилетний сын Павел; в новом браке появятся ещё сын Николай и дочь Варвара. С братьями и сёстрами у Саши не будет особенно близких отношений – ни во взрослые и поздние времена, ни, кажется, в детстве.

О детстве Саши Гриневского вообще достоверных сведений мало. Он сам писал про ранние свои годы дважды – в автобиографии 1913 года, предназначавшейся для «Критико-биографического словаря русских писателей» С. А. Венгерова, и в «Автобиографической повести», опубликованной в 1931 году в журнале «Звезда» (обратите внимание на магические даты-перевёртыши: 13–31). Кое-что добавляют мемуаристы – с его же слов. Но можно ли доверять воспоминаниям волшебника?

Во всяком случае, подвода с пожитками Гриневских дотащи́лась до Вятки – в те самые дни, когда умы в России кипели и бурлили, запалённые вестью: в Петербурге нигилисты, исполнители какой-то неведомой и страшной «Народной воли», взорвали царя (фамилия одного из цареубийц – Гриневский – так похожа...). Что будет? Чего ждать? Перед страной разверзлось неведомое грядущее, показывало свой лик (для кого-то желанный, для кого-то пугающий) Великое Несбывшееся. От этого, впрочем, жизнь губернского города не поме-

² Встречается написание *Лепкова*.

няла своего строя и русла; она продолжала течь в предначертанном направлении, как жидкая грязь по весенней колее.

Ещё меньше слышен был шум времени внутри ограды губернской больницы, где Гриневские прожили пять лет. За эти годы в большом имперском мире многое изменилось: курс реформ плавно перетёк в реакцию; одни министры отправились в изгнание, другие пришли на их места; вспыхнула ярким светом и сгорела «Народная воля». А Саша Гриневский рос и радовался жизни... И за вуалью радости начинал прозревать её, этой жизни, скорбное несовершенство. Странное чувство иногда просыпается в странных детях: как будто всё кругом не настоящее; а настоящее – лучезарное – ждёт где-то там, за углом, за поворотом, на том берегу...

Саша был, конечно, странным ребёнком.

В автобиографии он напишет: «Детство моё было не очень приятное. Маленького меня страшно баловали, а подростого за живость характера и озорство – преследовали всячески, включительно до жестоких побоев и порки». Так бывает: талант, который есть непреодолимое стремление к совершенству и к счастью за горизонтом, светился в маленьком ребёнке и привлекал к нему безотчётную любовь взрослых. И он же, этот талант, разрывая душу взрослеющего человека на тысячи противоречивых стремлений, рождает конфликт с внешним миром – царством устойчивости самодовольного порядка.

Обо всём остальном, что происходило с ним в те первые, определяющие годы жизни, он выскажется кратко, подстраивая вольно или невольно реалии своего детства под сложившийся образ себя – писателя: «Я научился читать с помощью отца 6-ти лет, и первая прочитанная мною книга была “Путешествие Гулливера в страну лилипутов и великанов” (в детском изложении). Мать тогда же научила писать. Мои игры носили характер сказочный и охотничий. Мои товарищи были мальчишки-нелюдими. Я рос без всякого воспитания. В 10 лет отец купил мне ружьё, и я пристрастился к охоте».

Воспоминание необъективно: если мать научила шестилетнего мальчугана писать, а отец помог одолеть науку чтения и дал в руки сыну свифтовского «Гулливера» – то это значит, что рос он отнюдь не «без всякого воспитания». Надо отметить ещё и то обстоятельство, что родители не слишком обременяли своего первенца домашними обязанностями, и времени для погружения в мир книг было у него предостаточно. Страсть к чтению, спутница детской мечтательности, вскоре одолела его. В автобиографии он напишет: «Я читал всё, что под рукой было, сплошь, от “Спиритизма с научной точки зрения” до Герштекера³ и от Жюль Верна до приложений к газете “Свет”. Тысячи книг сказочного, научного, философского, геологического, бульварного и иного содержания сидели в моей голове плохо переваренной пищей». В «Автобиографической повести» Грин дополнит список авторов и книг: Джон Дрэпер⁴, Майн Рид, Густав Эмар⁵, Луи Жаколь⁶... Эта пестроцветная смесь бесчисленными отблесками отразится в его рассказах, повестях и романах; имена, названия, типажи из прочитанных в детстве книг воплотятся в образы того мира, который создаст он сам... Но пока что он – мальчик, подросток, ученик начальных классов.

³ Герштеkker Фридрих (1816–1872) – немецкий путешественник и писатель, автор путевых очерков и приключенческих романов («Разбойники Миссисипи», «В Америку!», «Приключения юного китолова» и др.), очень популярных среди юношества.

⁴ Дрэпер Джон-Уильям (1811–1882) – американский химик, автор книги «История умственного развития Европы», популярной в России.

⁵ Эмар Гюстав (настоящие имя и фамилия Оливье Глу, 1818–1883) – французский писатель, автор множества приключенческих романов.

⁶ Жаколио Луи (1837–1890) – французский путешественник и писатель, автор путевых и этнографических очерков, а также романов приключенческого и научно-популярного содержания.

Семья разрослась, из тесного больничного жилища перебралась в город, на съёмную квартиру. В 1889 году Сашу определили в приготовительный класс Александровского вятского реального училища. В список учащихся он был внесён 16 августа, а уже в октябре педагогический совет уведомил Гриневских о плохом поведении их сына Александра. С этого времени в журнале инспектора училища, куда заносились сведения о неуспешных учениках и о всяческих нарушителях порядка, одна за другой появляются записи, рисующие Александра Гриневского в самом неприглядном свете. Вот он «бегал по классу и дрался»; вот ещё хуже: «обижал девочку и не сознался в том»; такого-то числа «употреблял неприличные выражения» и «вел себя неприлично на уроке закона Божьего», за это, конечно же, «был удалён с урока», но и тут не уgomонился: «по выходе из училища толкался и кидался землёй» и, отбежав от школы на безопасное расстояние, «передразнивал на улице пьяного. Свистел и вёл себя крайне неприлично».

Странность Саши проявлялась теперь вовсю – это был бунт одержимого против упорядоченности скучного мира. При том учился он неплохо, хотя и неровно. В конце первого учебного года заслужил особое, занесённое в инспекторский журнал, постановление педагогического совета: «Среди товарищей резко выдавался один только Гриневский, выходки которого были далеки от наивности и простоты. <...> Поступки Гриневского обращали на себя внимание даже училищного начальства». Все нормальные одноклассники готовы подчиняться и выполнять; все дети как дети, а он... Родителей уведомили, «что если они не обратят должного внимания на дурное поведение своего сына и не примут с своей стороны меры для исправления его, то он будет уволен из училища».

Педагоги как в воду глядели. Меры, принятые родителями («преследовали всячески, включительно до жестоких побоев и порки» – написано в автобиографии), не возымели действия. 1 сентября 1890 года Саша Гриневский пошёл, как все «нормальные» сверстники, в первый класс училища, а в октябре выбыл из числа реалистов, официально – по прошению отца. Но истинная причина была известна всем: неисправимый шалун, озорник, возмутитель спокойствия. Учителя в реальном училище были, в общем-то, добрые, портить мальчишке будущее не хотели: так как исключение по решению училищного совета «за плохое поведение» означало запрет на поступление в императорские школы, они настоятельно посоветовали Степану Евсеевичу забрать сына «по прошению» – на год.

Путешествие Саши Гриневского по закоулкам школьного мира возобновилось на следующий год – снова в первом классе реального училища. Проучился год – и не плохо, даже по поведению имел четвёрку (тройка означала опасный конфликт с педагогами; двойка – исключение из школы). Перешёл во второй класс. Четырнадцатым октября 1892 года помещена предпоследняя запись о Гриневском в инспекторском журнале: «Во время урока немецкого языка писал неприличные стихи на инспектора, его помощников и преподавателей». Вслед за этим – коротко и безоговорочно: «Выбыл из училища».

На сей раз выгнали – не стерпели «неприличных стихов». Правда, и тут не с волчьим билетом, а «по прошению».

В этой истории, смешной и печальной – весь будущий Грин. Неразумный. Неуправляемый. Не умеющий ни подо что и ни под кого подстраиваться. Невыносимый. Особенный. В своей «Автобиографической повести» он опишет эпизод со стихами подробно и драматично, хотя, по-видимому, не вполне достоверно. Впрочем, важна не оболочка фактов, а их внутренний смысл: становление изгоя.

«Аккуратно обдёрнув блузу, плотный, чёрный Мань-ковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок. Скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел. Преподаватель этого часа был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел.

– Гриневский!

Я встал.

– Это вы писали? Вы пишете пасквиль?

– Я... Это не пасквиль. <...>

– Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую.

Я вышел плача, не понимая, что происходит. <...> Классный наставник Решетов при-
вёл меня в учительскую комнату. <...> За большим столом, с газетами и стаканами чая, вос-
седал весь синклит.

– Гриневский, – сказал, волнуясь, директор, – вот вы написали пасквиль... Ваше пове-
дение всегда... подумали ли вы о родителях?..

Он говорил, а я ревел и повторял: “Больше не буду!”»

Через неделю Александр Гриневский был принят в Вятское городское четырёхкласс-
ное училище (по престижности – на ступень-две ниже реального училища). Сильных эмо-
ций и глубоких следов в душе городское училище, судя по всему, не оставило. В «Авто-
биографической повести» Грин ограничится краткой характеристикой, в коей неприязнь
по-гриновски контрастно соединена с одобрением: «Городское училище было грязноватым
двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены,
стены серы, в трещинах, пол деревянный, простой <...>. Вначале, как падший ангел, я гру-
стил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не
стеснительное «вы», начали мне нравиться».

Школу сию он и окончил – сравнительно благополучно – в 1896 году – как раз тогда,
когда в столицах и в захолустье со вздохами и скорбью обсуждали печальное начало нового
царствования: во время коронации Николая II в Москве на Ходынском поле были задав-
лены сотни людей. По случаю коронации, кстати говоря, Саша Гриневский получил (через
отца, конечно) заказ: изготовить двести бумажных фонарей для торжественной иллюмина-
ции больницы. Заработал восемь рублей.

Домашняя обстановка к этому времени изменилась: мать, Анна Степановна, умерла,
когда Саша учился в предпоследнем классе; в дом вошла мачеха Лидия Авенировна. Отно-
шения с ней у старшего пасынка сложились, по всей вероятности, такие же, как со школой:
одобрительно-неприязненные, сдержанно-враждебные. Саше было пятнадцать лет, он всту-
пил в возраст самоутверждения. Добавим к этому объективному обстоятельству известные
нам особенности его характера – и увидим, что конфликт с семьёй неизбежен. Человек сфор-
мировался; определилось его противостояние с окружающим миром.

III

С окончанием школы – в неполных шестнадцать лет – началась взрослая жизнь.

Началась сразу, почти мгновенно: в те именно минуты, когда пароход неторопливо и уверенно отходил от пристани Вятки. Александр Гриневский стоял на его борту, держась за поручни, и смотрел на свой город. Кто-то махал ему рукой с берега. Кто? Наверно, отец и сёстры. Может быть, кто-то из сверстников, «мальчиков-нелюдимов», пришедших проводить товарища. В общем – прошлое уходило в береговую даль, сливаясь с панорамой нелюбимого родного города. Солнце долго висело над лесистыми берегами. Это было на вершине года – 23 июня.

Взрослая жизнь Александра Степановича отчётливо разделяется на три почти равных (лет примерно по двенадцать) периода. Назовём их так: период бродяжества, период писательства, период волшебства.

Период бродяжества – это юность, тот самый возраст, к которому будут обращены все главные произведения волшебника Грина. Детство и школьные годы почти не отразились в его творчестве – лишь изредка, неотчётливыми тенями проступают образы, явившиеся отсюда. А впечатления бродяжного времени и опыт, накопленный в странствованиях и бедствиях, станут основой той ткани, из которой сотворены «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», «Золотая цепь» и «Дорога никуда».

Между тем, это самый трудный для изучения период жизни Грина. Здесь всё окутано туманом легенд, проникнуто автобиографическим вымыслом, озарено отсветами будущих литературных сюжетов. Основной источник сведений – «Автобиографическая повесть», произведение более беллетристическое, чем документальное. Её дополняют эпизоды, пересказанные со слов Грина мемуаристами. Лишь со второй половины 1902 года жизненный путь нашего героя более или менее надёжно прослеживается по беспристрастным военным, судебным и полицейским документам.

Вырисовывается следующая последовательность событий.

23 июня 1896 года Александр Гриневский отправляется из Вятки на пароходе в Казань, оттуда в Одессу поездом. Цель – поступить в мореходные классы и стать моряком. В вагоне знакомится с неким пассажиром, оказавшимся управляющим крупной мануфактурой в Одессе, от него получает рекомендательное письмо к господину Хохлову, влиятельному служащему Русского общества пароходства и торговли (РОПИТ). По прибытии в Одессу узнаёт, что для поступления в мореходные классы требуется шестимесячный стаж плавания в качестве ученика; притом матросскому ученику не только не полагается жалованье, но за пропитание с него требуют денег. Гроши, которыми смог ссудить отец, заканчиваются. Пытается устроиться на какой-нибудь пароход, живёт в гостинице, в ночлежке, в бордингаузе – общежитии береговой команды (вот откуда описание бордингауза в «Золотой цепи»). Только в августе по рекомендации Хохлова удаётся устроиться учеником матроса «за плату восемь рублей пятьдесят копеек за продовольствие» на пароход «Платон». За деньгами пришлось обращаться к отцу – тот выслал, сколько мог.

Итак, юноша, ни разу до этого не покидавший лесную дремучую Вятку, становится моряком-черноморцем.

Ненадолго.

Два рейса по Крымско-Кавказской линии (Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь, Батум). В итоге за неуплату денег осенью того же года ученик матроса Гриневский списан на берег в Одессе.

Опять протекция Хохлова, опять бордингауз, опять поиск места. Зимой, вследствие конфликта с обитателями бордингауза оказывается выставлен на улицу. Далее – больница,

ночлежный дом, жизнь впроголодь, случайные грошовые заработки. Работает сторожем на складе, грузчиком, поваром, матросом, маркировщиком. Всё это описано в «Автобиографической повести» и не подтверждается никакими иными источниками. Полагаем, что в целом автору следует верить, хотя в деталях возможен художественный вымысел. Несомненно то, что ситуации и образы из «Автобиографической повести» находятся в тесном родстве со многими эпизодами из рассказов и романов писателя Грина. А также то, что все попытки юноши Гриневского вписаться в портовую и морскую жизнь заканчивались конфликтами.

Лишь весной 1897 года – удача: его берут матросом на пароход «Цесаревич». Но и тут недолгая служба была оборвана ссорой – на сей раз с капитаном. Об этом эпизоде Грин в «Автобиографической повести» сообщает очень кратко, как будто сам конфузится своей неуживчивости: «... Уволили меня за сопротивление учебной шлюпочной гребле; этому бессмысленному занятию предал нас капитан “Цесаревича” <...>. Дело произошло в Смирне, на обратном из Александрии пути. В наказание (а я публично высмеивал потуги капитана и однажды бросил даже вёсла) меня сняли с работы, и я окончил путь пассажиром, ничего не делая». И снова голодная жизнь на берегу. Вещи, которые успел нажить, пришлось спустить на толкучке. «Всё было уже продано мной – даже моя корзинка, даже краски, которыми хотел я рисовать на берегах Ганга цветы джунглей».

Вместо джунглей – вновь северные болотистые леса; вместо Ганга – извилистая Вятка. По истечении года скитаний потянуло домой. Возвращение семнадцатилетнего Александра в отчий дом не было триумфальным. Но неудачи ничего не изменили в его характере и в его взаимоотношениях с близкими. Отец и раньше помогал чем мог непутёвому сыну – и теперь пособил: устроил на маленькую писарскую должность в канцелярию Вятской городской управы. Но сын через несколько месяцев уходит с тёпленького местечка. Какое-то время служит в городском театре, переписывает роли для драматической труппы. Потом поступает на железнодорожные курсы, через неделю или две бросает их. Работает писцом в одной из местных канцелярий, переписывает по заказу отца ведомости годового отчета земских благотворительных заведений. Так переживает зиму.

Приходит лето 1898 года – и вновь ветер странствий уносит Сашу. Опять пароход отчаливает от вятской пристани. Из Казани путь Гриневского теперь лежит по Волге к Астрахани и далее в Баку. В кармане – десять рублей, полученные от отца. Эта сумма исчерпана уже в Астрахани. Оттуда «за работу» на пароходе удаётся достичь Баку – нефтяной столицы Каспия. Здесь, по сути дела, повторяется история предыдущих двух лет. Перепадают случайные заработки: то он забивает сваи для пристани, то соскребаёт краску с пароходов в доке, то раздувает мехи в кузнице, то работает грузчиком в порту. Снимает жильё за копейки в доме старика-грузчика; потом с хозяевами ссора – остаётся без жилья. Ночует в пустых котлах, под опрокинутыми лодками, если повезёт – в ночлежке, если нет – то в недостроенном доме среди строительного мусора «или просто где-нибудь под забором». Следствие такой жизни – малярия, которая приводит его в больницу. Выздоровливает, благо молодой – и снова: подённые работы, случайное жильё, бродяжничество с босяками. Летом 1899 года устраивается матросом на товаро-пассажирский пароход «Атрек», но после двух рейсов (Баку – Красноводск – Астрахань – Дербент) берет расчет и... отправляется пароходами – за деньги, за работу, «зайцем» – домой в Вятку.

Ему уже двадцать лет, а у него нет ничего – ни положения, ни службы, ни денег. Опять пишет и переписывает бумаги для Вятского театра и для вятских обывателей. Уезжает из Вятки – теперь на Урал; бродяжничает, подрабатывает то там, то сям (в бане банщиком, на барже матросом, в паровозном депо чернорабочим, на прииске, на шахте, на лесосплаве). Пестрота неустроенной жизни становится утомительно однообразной, похожей на болезнь.

Что-то должно произойти такое, что погубит его окончательно, или выведет на настоящий путь.

Осенью 1901 года воля вольная заканчивается: в жизнь Александра Гриневского вторгается самодержавный колосс. По достижении двадцати одного года он подлежит отбыванию воинской повинности – получает уведомление о включении в списки лиц 1-го призывного участка Вятского уезда. И той же самой осенью оказывается под следствием и судом по обвинению в сбыте краденого.

Что это была за история с продажей золотой цепочки от часов, оказавшейся краденой, – не совсем ясно. (Не эта ли цепочка, едва не переломившая судьбу нашего героя, трансформируется потом в золотую цепь – источник богатств и несчастий персонажей одноименного романа?) Суд признал Александра Гриневского невиновным в преступлении: он продал цепочку, не зная о её криминальном происхождении. Что ж, невиновен – значит невиновен. Но, конечно же, Александр давно ходил по краю пропасти: один неверный шаг – и быть бы ему уголовным преступником, вором, а то, при его характере, и убийцей... Или погибнуть в кабацкой драке; или умереть под забором; или сгинуть в жёлтом свете тюремных коридоров... Впрочем, тюрьмы ждали его в недалёком будущем – он ещё не знал об этом.

IV

Призыв на военную службу был отсрочен до вынесения приговора. Сразу же после суда Александру Гриневскому надлежало явиться в управление воинского начальника для отправки в часть. 1 марта 1902 года он официально зачислен на казённое содержание, 18 марта определён рядовым, стрелком 3-го разряда 213-го Оровайского резервного батальона, дислоцированного в Пензе.

Военная служба оказалась столь же краткосрочной, как и мореходный опыт.

Дальнейшие события косноязычно, но ясно обрисованы в документах из архива Оровайского батальона (ныне хранящихся в Центральном государственном архиве Военно-морского флота Российской Федерации). 8 июля рядовой Александр Гриневский «исключен из списков батальона бежавшим». Через неделю пойман в Камышине и 17 июля снова внесён в списки батальона. 28 июля предан суду за побег. 7 августа приговорён батальонным судом к трёхнедельному аресту с содержанием на хлебе и воде без перевода в разряд штрафованных. Пункт о виновности осуждённого сформулирован на неподражаемом военно-канцелярском языке: «за самовольную отлучку, покинутие мундирной одежды в месте, не предназначенном её хранению, и за промотание мундирной одежды и амуниционных вещей». Вскоре по отбытии наказания, 27 ноября «около 2-х часов пополудни Гриневский <...> ушёл в город и больше не возвращался». 28 ноября «исключён из списков 213-го Оровайского резервного батальона бежавшим».

Итак, побег и переход на нелегальное положение.

Это было неизбежно: тот Гриневский, которого мы знаем, – неуправляемый, неуживчивый, конфликтный, вольнолюбивый, – не мог удержаться в уставных рамках военной службы: он воспринимал её как унижение. О глубокой ненависти к армейской системе отношений, выстроенной на истреблении человеческой личности, свидетельствуют ранние рассказы Грина: «История одного убийства», «Слон и Моська». В последнем пьяный офицер произносит такую фразу: «Вас, скотов, берут на службу для чего, как бы ты думал? Ну – родина там... что ли... отечество... для защиты, а? Царь, мол, бог... Те-те-те! Для послушания вас берут, вот что!» Послушание Гриневскому было ненавистно. Его поступки в армии похожи на выходки в школе, с той только разницей, что за те грозили исключение из школы и порка, а за эти – военный суд. Из материалов следствия: «За время служения в батальоне Александр Гриневский вёл себя скверно и совершил несколько серьёзных выходов, из которых помню одну: когда нашу роту повели в баню, Гриневский разделся <...>, повесил на полку свои кальсоны и объявил, что это знамя Оровайского батальона». «Причина побега, очевидно, нравственная испорченность и желание уклониться от службы».

«Нравственная испорченность» (то есть неподвластность уставам и неуставному гноблению) – но не только. Тут в сложноплетённую биографию нашего героя включается ещё одна яркая нить: участие в подпольной революционной деятельности. Когда именно Гриневский связался с социалистами-революционерами (эсерами) – доподлинно не известно. В «Автобиографической повести» Грин почему-то обошёл молчанием трёхлетний период времени от возвращения с уральских приисков до приезда своего в Севастополь в 1903 году. Традиционное для биографий Грина советского времени утверждение, что он, мол, познакомился с эсерами во время солдатчины и там же проникся революционными настроениями, не находит документального подтверждения. Напротив, свидетель по делу Гриневского ефрейтор Пикинов утверждал, что «Гриневский против царя или же против устройства государства ничего не говорил». Скорее всего, с революционным подпольем он вступил в контакт уже после побега из армии: у кого ещё мог получить помощь и поддержку беглый солдат, как не у борцов против существующего строя?

История взаимоотношений Гриневского с эсерами и характер его участия в их деятельности не вполне ясны. Писатель Грин не любил распространяться на эту тему – даже в трудные последние годы жизни, когда всякое упоминание о революционной деятельности могло помочь обрести милость у советской власти. Известно, что он был связан с деятелями революционного подполья Наумом Яковлевичем Быховским, Степаном Николаевичем Слётовым, Наумом Леонтьевичем Геккером. Есть сведения, что какое-то время Гриневский скрывался в Пензе, Симбирске, Нижнем Новгороде; что у старших товарищей по партии существовали планы использовать его для совершения теракта, но потом его признали по складу характера неподходящим для этого рода деятельности. Ему поручают пропагандистскую работу. Он пишет прокламации, участвует в уличных манифестациях, ведёт революционные беседы с рабочими и солдатами, переезжает из города в город: Саратов, Тамбов, Екатеринослав, Киев, Одесса. Всё это известно лишь в самых общих чертах из нескольких не слишком надёжных мемуарных источников. Определённость фактов появляется лишь с осени 1903 года, когда подпольщик-пропагандист по кличке Алексей (он же Долговязый, он же Гасконец) появляется в Севастополе.

Времена наступали тревожные. На Россию надвигалось нечто грозное, манящее и пугающее одновременно. По южным губерниям только что прокатилась мощная волна стачек. В близком будущем предчувствовались, как определит ровесник и тёзка Гриневского поэт Александр Блок, «неслыханные перемены, невиданные мятежи».

Алексей вёл – и не без успеха – революционные разговоры среди матросов Севастопольской базы. Но продолжалось это недолго. Донесли собеседники – рядовые крепостной артиллерии Тимофей Кириенко и Степан Кривonos. При их участии 11 ноября 1903 года на Графской набережной полицией был задержан подозрительный субъект, назвавшийся пензенским мещанином Григорьевым. Паспорт, как выяснилось в участке, фальшивый. Задержанный от дачи показаний отказался, протокол подписывать не стал, «вёл себя вызывающе и угрожающе». При обыске на его квартире была обнаружена революционная литература. Арестованному предъявили обвинение в «речах противоправительственного содержания» и распространении идей, «которые вели к подрыванию основ самодержавия и ниспровержению основ существующего строя». Составили, как положено, описание внешности, из которого мы узнаём, что правый зрачок у него шире левого, на шее родинка, на груди татуировка, изображающая парусный корабль. «Натура, – как сказано в характеристике, – замкнутая, озлобленная, способная на всё, даже рискуя жизнью». Своё настоящее имя он назвал только в конце декабря, после неудачной попытки побега и голодовки.

Следствие о Гриневском вскоре разветвилось на несколько дел: «О пропаганде среди нижних чинов Севастопольской крепостной артиллерии»; «О преступной деятельности по распространению противоправительственных учений среди нижних чинов флота»; «О преступном сообществе, образовавшемся в Севастопольском морском госпитале с целью произвести бунт» (в сообщество входила также «мещанка Екатерина Бибергаль» – партийное прозвище Киска, молодая, красивая пламенная революционерка, в которую Гриневский был безнадежно влюблён). Конечно же, всплыла история с побегом из Оровайского батальона. Пока тянулись судебные-следственные процедуры, пока арестант Гриневский маялся в севастопольской тюрьме, за её стенами, на воле происходили великие и страшные события. Началась и опалила Россию кровавыми поражениями Русско-японская война. За ней следом надвинулась смута. 9 января 1905 года в Петербурге свершилось Кровавое воскресенье. В феврале товарищи Гриневского по партии – участники эсеровской Боевой организации – взорвали в Москве карету великого князя Сергея Александровича и куски тела одного из сыновей Александра II разлетелись по кремлёвской мостовой. Стачки, манифестации, теракты, восстания захлестнули страну.

Как раз в это время, в январе-феврале 1905 года, состоялись судебные слушания по делу Гриневского. 22 февраля был вынесен приговор Военно-морского суда о признании подсудимого виновным, об исключении его из службы и о ссылке на поселение с лишением воинского звания и прав состояния. Однако, как состоящий под следствием по другому делу, Гриневский был оставлен под стражей. Только в августе приговор вступил в законную силу. Но отправки по этапу осуждённый не дождался. Осень 1905 года закружила Россию в небывало мощном революционном вихре. 17 октября последовал Высочайший манифест о гражданских правах, через четыре дня – указ об амнистии для политических осуждённых. 24 октября 1905 года Александр Гриневский был освобождён из севастопольской тюрьмы.

Севастополь бурлил. За четыре дня до освобождения Гриневского у стен тюрьмы собралась толпа, гремели революционные лозунги, потом винтовочные залпы: манифестация была расстреляна. Назревало что-то страшное. В ноябре собравшиеся тучи разразились грозой – вспыхнуло восстание на флоте. С крейсера «Очаков» разнеслось ставшее знаменитым: «Командую флотом. Шмидт». Около десятка больших и малых кораблей подняли красные флаги. Потом грохотали корабельные орудия. Восстание было подавлено.

Ошеломлённый внезапной свободой, Гриневский не принимал участия в этих событиях. В декабре он уехал из мрачно затихшего Севастополя в Петербург, надеясь встретиться там с Киской-Катериной, тоже освобождённой по амнистии. Это кончилось бедой: отвергнутый своей возлюбленной, он стрелял в неё, легко ранил. Покушение было скрыто от полиции, но через пару недель Гриневского вновь арестовали – совершенно случайно, во время полицейской облавы.

В политических событиях угасающей революции Гриневский после амнистии не участвовал. Однако при нём оказался поддельный паспорт на имя мещанина Николая Ивановича Мальцева – это уже состав преступления. Надеюсь если не на справедливость, то на милость власти, он пишет прошение на имя министра внутренних дел П. Н. Дурново: «... Теперь, после амнистии, не имея ничего общего ни с революционной или с оппозиционной деятельностью, ни с лицами революционных убеждений – я считаю для себя мое настоящее положение весьма жестоким и не имеющим никаких разумных оснований, тем более что и арестован я был лишь единственно по подозрению в знакомстве с лицами, скомпрометированными в политическом отношении. На основании вышеизложенного честь имею покорнейше просить Ваше высокопревосходительство сделать надлежащее распоряжение об освобождении меня из тюрьмы, с разрешением проживать в г. С.-Петербурге».

На прошение была наложена резолюция: «Отклонить».

Судьба играет, странные игры. Она загоняет человека в безвыходные тупики, доводит до отчаяния, до гибельной точки, и как раз тогда, когда последняя искорка надежды готова погаснуть в подопытном – в этот самый момент вдруг отворяются потайные двери, и в неожиданно ярком свете является за ними новый этап жизненного пути.

Впрочем, что сваливать на судьбу! Всё это человек создаёт себе сам – и тупики, и выходы. Только нужно помнить про своё Несбывшееся, нужно быть готовым встретить и принять его.

Поэт сказал: «Мы, оглядываясь, видим лишь руины». Десятый год бродяжьего бытия Александр Гриневский завершал в камере петербургской пересыльной тюрьмы. Пора было подводить итоги – и, оглядываясь назад, в прошлое, он едва ли видел что-то достойное радости и гордости. Революционер из него не получился – так же, как моряк и солдат. Ему не хватало каких-то необходимых качеств личности для того, чтобы играть эти роли. В нём было много порыва и мало упорства; много самолюбия и мало дисциплины. Главное же – он был слишком в себе, слишком человек наособицу. Что же дальше? Тусклая жизнь ссыльного, повторение беспросветного отцовского опыта? Или новый мир откроется за горизонтом?

Мог ли он думать 4 мая 1906 года, выслушивая постановление о высылке в отдаленный уезд Тобольской губернии под надзор полиции, что в его жизни скоро начнётся новая пора – писательство? И что предвестием главного поворота – ровно на середине! – его жизненного пути станет появление в тюремной комнате для свиданий незнакомой девушки с чистыми, правильными чертами лица, слегка волнистыми аккуратно уложенными волосами и прямым, упорным взглядом?

V

Вера Павловна Абрамова, «девица из хорошей семьи» – дочь преуспевающего чиновника, выпускница Бестужевских курсов – принадлежала, разумеется, к «передовой молодёжи» того революционного времени и поэтому деятельно участвовала в общественной работе, направленной на облегчение участи страдальцев за народную свободу. В частности, по линии Красного Креста помогала политическим заключённым: участвовала в сборе провизии, одежды, тёплых вещей, посещала родственников осуждённых для утешительных бесед. Одной из разновидностей этой деятельности было исполнение роли «тюремной невесты». «Я должна была называть себя “невестой” тех заключённых, у которых не было ни родных, ни знакомых в Петербурге. Это давало мне право ходить на свидания, поддерживать их, исполнять поручения», – определит она свои тогдашние обязанности через много лет в «Воспоминаниях об Александре Грине».

Из того же источника, правдивого и точного, мы узнаём о том, как в начале мая 1906 года состоялось её знакомство с одним неординарным заключённым. «Ко мне домой пришла незнакомая девушка и сказала, что её сводный брат, А. С. Гриневский, сидит с января 1906 года в Выборгской одиночной тюрьме. До сих пор она, Наталья Степановна, сама ходила к нему на свидания и делала передачи, но в мае ей придётся уехать, и она просит меня заменить её».

Наталья Степановна – не кто иная, как приёмная дочь Гриневских, от которой они отказались после рождения собственных детей. Как видим, став взрослой, она не порывала контактов с семьёй, из которой была изгнана. Во время содержания Александра Степановича в петербургских тюрьмах только она одна навещала «бывшего брата». Через четыре года она будет присутствовать при венчании Александра и Веры – вместе с родной сестрой жениха Екатериной. Известно, что в межреволюционные годы Наталья Степановна работала акушеркой и вышла замуж. В дальнейшем её следы теряются.

Продолжаем цитировать воспоминания Веры Павловны: «Когда я получила разрешение на свидание, мы отправились с ней в тюрьму вместе. <...> Нас впустили в большое помещение, в котором уже было много народа. Каждый заключённый мог свободно говорить со своими посетителями, так как надзор был слабый. Надзиратель ходил по середине большого зала, а заключённые со своими гостями сидели на скамейках возле стен. Александр Степанович вышел к нам в потёртой пиджачной тройке и синей косоворотке. И этот костюм, и лицо его заставили меня подумать, что он – интеллигент из рабочих. Разговор не был оживлённым; Александр Степанович и не старался оживить его, а больше присматривался. <...> Дали звонок расходиться. И тут, когда я подала Александру Степановичу руку на прощание, он притянул меня к себе и крепко поцеловал».

К сему добавим, что Вере Абрамовой было 24 года, и её до этого не целовал ни один посторонний мужчина. Выйдя из тюремных врат, Вера Павловна, как всякий человек, покидающий стены подобного рода учреждений, огляделась вокруг и глубоко вдохнула воздух свободы. В этом воздухе царствовала холодная и мокрая, но неотразимо обаятельная петербургская весна.

Весна рождает вдохновение и надежды в истомлённом долгой зимой сердце.

Продолжение тюремной истории оказалось неожиданным: «Недели через две я получила от Александра Степановича письмо. В нём стояла многозначительная фраза. “Я хочу, чтобы вы стали для меня всем: матерью, сестрой и женой”. И больше ничего, даже обратного адреса».

Вере Павловне следовало поскорее забыть об этом странном письме и об этом странном человеке. Но далее последовали три события, которые решительно изменили её жизнь.

15 мая Гриневский отправлен «этапным порядком» в ссылку в Туринск. 11 июня совершает побег из Туринска. В начале июля, возвращаясь откуда-то домой (фешенебельная Фурштатская улица, дом 33), Вера увидела на лестничной площадке у дверей отцовской квартиры человека – по её воспоминаниям, «худого, загорелого и весёлого». Того самого.

Её судьба, как говорится, решилась.

То ли перед этим, то ли сразу после беглый ссыльный съездил в Вятку. Отец помог ему и на этот раз: используя больничные знакомства, выправил надёжный паспорт на имя личного почётного гражданина Алексея Алексеевича Мальгинова (настоящий владелец документа только что умер в Вятской земской больнице). Забегая вперёд, сообщим: Степан Евсеевич Гриневский проживёт ещё семь с половиной лет и умрёт 1 марта 1914 года, в тридцать третью годовщину гибели царя Александра II, при котором был осуждён и отправлен в ссылку.

На пути из Вятки в Петербург Гриневский-Мальгинов заехал в Москву повидаться с товарищами-эсерами. И тут произошло ещё одно событие, значение которого тогда не мог оценить никто. В книгоиздательстве Мягкова, тесно связанном с эсерами, отдельной брошюрой был отпечатан рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» за подписью А. С. Г.

Совершилось появление писателя – но читатель этого не заметил: распоряжением Главного управления по делам печати на брошюру был наложен арест и весь тираж уничтожен. Такая же судьба тремя месяцами позже постигла и другой рассказ, тоже изданный отдельной книжечкой – «Слон и Моська». Оба рассказа были восприняты цензурой как «закрывающие в себе возбуждение к нарушению воинскими чинами обязанностей военной службы», да, собственно, таковыми и являлись. В первом из них речь шла о том, как во время усмирения крестьянских волнений солдат расстреливает ни в чём неповинного человека по приказу пьяного офицера. Во втором – о мерзости человеческих отношений в армии и об отчаянном восстании маленького солдата против безликой армейской машины. Оба рассказа уцелели в нескольких архивных экземплярах и были вторично опубликованы после их обнаружения в 1960-х годах.

А новый писатель, пока ещё не обретший своего имени, продолжает попытки найти выход к читателю. В декабре 1906 года в популярной газете «Биржевые ведомости» печатается рассказ «В Италию» за подписью «А. А. М-в». Тогда же в редакцию журнала «Русское богатство» поступил рассказ «Солдаты», подписанный А. С. Г. Правда, редактор журнала, знаменитый Владимир Галактионович Короленко сделал по этому поводу в редакторской книге запись: «Солдаты (расск<аз> А. С. Г.) <...> Жизни мало. Возвр<атить>». Но вскоре «Русское богатство» получило рассказ «Науту», который под названием «Кирпич и музыка» осенью того же года был опубликован в иллюстрированном приложении к газете «Товарищ».

И как-то незаметно состоялось главное. 25 марта 1907 года, в праздник Благовещения, в той же газете «Товарищ» был напечатан рассказ «Случай». Под ним стояла подпись: А. С. Грин. Имя родилось.

Гриневскому шёл двадцать седьмой год. Грину оставалось прожить ещё 25 лет и 105 дней, после которых – бессмертие.

В воспоминаниях второй жены Грина Нины Николаевны содержится рассказ о появлении псевдонима, записанный, несомненно, со слов самого Грина. Якобы перед публикацией рассказа «Апельсины» редактор А. А. Измайлов* спросил автора, как он будет подписываться. «Александр Степанович, не желая быть Мальгиновым, и зная, что не может Гриневским, с молодой пылкостью ответил – “Лиловый дракон”. Измайлов расхохотался и сказал, что такой псевдоним совсем не годится. Тогда Александр Степанович взял первую половину своей настоящей фамилии». Это, конечно же, мистификация, шутка, одна из тех, которые Грин любил рассказывать с серьёзным видом и уверять в их правдивости. Как мы знаем, псевдоним «А. С. Грин» родился на странице газеты «Товарищ», к которой Измай-

лов не имел никакого отношения. Рассказ же «Апельсины» был напечатан у Измайлова в «Биржевых ведомостях» позже, в июне 1907 года. Однако же в каком-то смысле эта история правдива: она являет ту наивную, детскую любовь к небывалому, к чуду, к экзотике, без которой немисливо литературное творчество волшебника Грина.

* Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) – писатель, критик, фельетонист, вёл литературный отдел в газете «Биржевые ведомости».

VI

До конца 1907 года в «Товарище», в «Биржёвке», в журнале «Трудовой путь» было опубликовано семь рассказов, подписанных новообретенным псевдонимом. В следующем году в разных изданиях – семнадцать. Окрылённый автор отобрал десяток рассказов и решил издать их книгой. Она вышла в 1908 году под названием «Шапка-невидимка» и с подзаголовком «Из жизни революционеров» в небольшом петербургском издательстве «Наша жизнь», близком к революционным кругам (в этом же издательстве в этом же году была напечатана брошюра Г. В. Плеханова «Основные вопросы марксизма»). Первый блин, правда, оказался комом: книга не имела успеха – прежде всего, у самого автора, который ею был сильно разочарован. В самом деле, настоящего Грина в ней нет – есть начинающий писатель, не нашедший ещё своего пути; есть социальный пафос, неприятие существующего общественного строя; есть удача, яркие образы, утопленные в потоке заурядной, натужно политизированной литературщины.

Тем не менее, книга сделала своё дело – ввела Грина в круг литераторов. Он довольно быстро свёл знакомства с писателями, поэтами средней руки: с искателем талантов Виктором Сергеевичем Миролубовым, с юным фельетонистом Николаем Константиновичем Вержбицким, с изобретательным смехачом-пародистом Евгением Осиповичем Венским (Пяткиным), с заправским стихотворцем Яковом Владимировичем Годиным, с мечтательным лириком-одиночкой Леонидом Ивановичем Андрусоном, с бойким до нахальности журналистом Александром Ивановичем Котылевым; но это всё мелочь, ибо среди его знакомцев – сам знаменитый Александр Иванович Куприн. Публика разношёрстная. Всех или почти всех этих людей, талантливых и не очень, объединяла любовь к неупорядоченной богемной жизни и к выпивке по кабакам и ресторанам. К сожалению, надо признать: наш герой деятельно включился в эту круговерть.

К тому времени, когда «Шапка-невидимка» блистательно провалилась, Гриневский-Мальгинов-Грин уже жил семейно – вернее, пытался жить семейно – с Верой Павловной Абрамовой. О пребывании под одной крышей с её отцом (господином либеральных взглядов, но весьма скандализированным выбором дочери) не могло быть и речи. Осенью 1907 года они сняли маленькую квартирку на 1-й Линии Васильевского острова, недалеко от Геологического института, куда поступила на службу Вера Павловна. Согласно её воспоминаниям, жизнь двух влюблённых поначалу была похожа на идиллию. Но очень скоро сквозь розовые тона стали проступать тёмные пятна неурядиц. Отчасти в этом была повинна среда – то море (или болото), в которое Грин бултыхнулся с со свойственной ему рьяностью. По словам Веры Павловны, «Александр Степанович за год своего пребывания в Петербурге сошёлся с литературной богемой. Это делало нашу жизнь трудной и постоянно выбивало из бюджета».

Но не только в бюджете дело. Грин стал сильно выпивать, и, пьяный, становился невыносим. Один литератор из того самого богемного круга, некто Николай Карпов, в своих (не особенно, правда, достоверных) мемуарах, озаглавленных «В литературном болоте», утверждает, что Грин «пил отчаянно, швыряя бессмысленно тяжелым трудом заработанные деньги, попадал в самые грязные притоны и возвращался домой оборванный, ограбленный, в самом ужасном виде, приводя в отчаяние жену, женщину исключительной доброты». Возможно, Карпов, лишь шапочно знакомый с Грином, сгустил краски. Но нечто подобное имело место. Вера Павловна к этому совершенно не была готова. Весной 1908 года она ушла от «гражданского мужа» и стала жить отдельно. Вскоре, однако, Грин пришёл к ней – и она его не прогнала. Так стала складываться странная жизнь. Из воспоминаний Веры Павловны: «Александр Степанович весь предыдущий год не давал мне покоя, настаивая на том, чтобы

я опять поселилась с ним вместе. Он умел доказывать, что ему необходимы забота и ласка. И мне самой хотелось того же. Поэтому осенью 1909 года я поселилась в тех же меблированных комнатах, на углу 6-й линии В. О. и набережной, где снял себе комнату и Александр Степанович. Однако уклад жизни не изменился».

Во всем его бытии в этот («писательский») период ощущается какая-то раздвоенность, как будто наш герой ещё не решил окончательно, кто же он на самом деле – Гриневский или Грин? Он хочет тихого семейного пристанища с любимой и любящей женой – и кидается в бесовские омуты богемных загулов. Он много и охотно работает, читает (Диккенса, Бальзака, Мопассана, Альфонса Додэ, Александра Дюма, Сетон-Томпсона, Кипплинга, Брет Гарта, Эдгара По, Джека Лондона, Стивенсона, Леонида Андреева, Сологуба, Мережковского, русских классиков...) – и заглушает музыку творчества гулом дешёвых кабаков и дорогих ресторанов.

Та же двойственность и в его писательстве.

Внешне оно (писательство) продвигается успешно. В 1909–1910 годах написано и опубликовано около четырёх десятков рассказов. В начале 1910 года в петербургском издательстве «Земля» напечатана книга «Рассказы», куда более художественно убедительная, чем «Шапка-невидимка». Грин вырабатывает свою манеру письма, а главное – постепенно обретает путеводную нить в тот особенный мир, который потом его последователи назовут Гринландией. В № 6 «Нового журнала для всех» за 1909 год был опубликован рассказ «Остров Рено» и почти одновременно в газете «Слово» – «Штурман «Четырёх ветров»». Впервые Грин решился увести себя и читателя за пределы знакомого, познанного мира в несуществующее и в то же время как бы реальное пространство, где «вода светится на три аршина, а рыбы летают по воздуху на манер галок», где небо, «под которым хочется хохотать с зари до зари, как будто ангелы щекочут в вашем носу концами своих крыльев». Люди здесь такие же, как мы, – и всё же необыкновенные. Невозможно сказать, кто они – немцы, французы, англичане, норвежцы... Имена и названия звучат на особенный манер: как будто знакомо, но небывало. Буль, Рантэй, Блемер, Тарт.

Этот самый Тарт – герой рассказа «Остров Рено» – добровольно остаётся на затерянном в океане тропическом острове, уходит от мира господства и подчинения, рутины и обыденности в неведомую и пугающую свободу. «Он стряхивал с себя бремя земли, которую называют коротким и страшным словом «родина» <...>. Свобода, страшная в своей безграничности, дышала ему в лицо тёплым муссоном и жаркой влагой истомлённых зноем растений». То же самое пытался совершить писатель Грин – в вышеназванных рассказах и в примыкающих к ним «Проливе Бурь», «Колонии Ланфиер» и некоторых других. Но обыденность, вооружённая инструментарием литературного реализма, держала его крепко. Тарт погибает, убитый прибывшими на остров матросами, подозревающими его в связи с дьяволом. Грин продолжает писать рассказы о рядовом Банникове, ефрейторе Цапле, террористе Петунникове, о помещике Варламове и его скучающей жене Елене, о разыгрывающихся между ними трагических или мелодраматических коллизиях – пишет не хуже, и даже лучше многих других писателей-современников... Не хуже.

Самое бессмысленное в писательстве – писать не хуже других.

Рассказы Грина этого периода можно условно, не гонясь за точностью формулировок, разделить на «реалистические» и «фантастические». «Реалистические» скучны, несмотря на остросюжетность, обилие выстрелов и крови, ибо во всём – в языке, речевых характеристиках, в композиционных приёмах, в расстановке нравственных акцентов и в прочем – автор идёт проторёнными путями, и чем натуралистичнее или экзотичнее становится реализм, тем очевиднее его вторичное, книжное происхождение. «Фантастические» читаются с куда большим интересом, но на них лежит печать недодуманности, недочувствованности, недоувиденности, и это придаёт героям и действию ходульный, условно-масочный характер.

Про то и про другое понятно, как это сделано.
Писательство состоялось. Волшебство ещё не началось.

VII

Между тем писатель Грин продолжал жить, сочинительствуя и дебоширя, по паспорту давно умершего Мальгинова, а полиция продолжала, хотя и неактивно, разыскивать беглого ссыльного Гриневского. Рано или поздно это должно было кончиться.

Из письма из Петербургского охранного отделения тобольскому губернатору от 6 августа 1910 года: «27-го минувшего июля, в Петербурге по 6-й линии Васильевского острова, дом 1, кв. 33, арестован неизвестный, проживающий по чужому паспорту на имя личного почётного гражданина Алексея Алексеевича Мальгинова. Задержанный при допросе в Охранном отделении показал, что в действительности он есть Александр Степанович Гриневский, скрывавшийся с места высылки из Тобольской губернии, где он состоял под гласным надзором полиции».

Впоследствии Грин утверждал, что на него донёс кто-то из друзей-литераторов, возможно, Котылёв. Вера Павловна в это время была в отъезде. Своего мужа она нашла в Доме предварительного заключения. За побег из места прежней ссылки и за проживание по чужому паспорту ему грозила новая ссылка, а то и тюрьма. Прошения на имя министра внутренних дел Столыпина и даже на имя самого государя результата не возымели. 3 сентября постановлением министра внутренних дел Гриневскому было определено быть высланным в Архангельскую губернию на два года.

Пережив первый шок, Вера Павловна твёрдо решила следовать за мужем. Чтобы получить разрешение на совместное проживание, им нужно было обвенчаться. Гриневский подал об этом прошение, на него был получен положительный ответ – хотя и не сразу, так что Вере Павловне пришлось побегать по приёмным жандармских, тюремных и полицейских чинов. 24 октября в церкви Николая Чудотворца Санкт-Петербургского градоначальства (Адмиралтейский проспект, угол Гороховой улицы) в присутствии Наталии Степановны и Екатерины Степановны Гриневских состоялось венчание Александра Степановича Гриневского и Веры Павловны Абрамовой. Жених был доставлен к месту совершения таинства под охраной в тюремной карете и по окончании богослужения увезён обратно тем же порядком.

31 октября супруги отправились в своё свадебное путешествие: он в арестантском вагоне, она – тем же поездом в вагоне третьего класса; через Вологду в Архангельск, оттуда на перекладных в Пинегу Мезенского уезда. Деньги на всё – на тёплую одежду, на дорогу и на обустройство – дал отец молодой супруги Павел Егорович Абрамов. Лишь совсем немного Грину удалось выпросить в качестве пособия от собратьев-литераторов.

«Пинега хоть и называлась уездным городом, однако больше походила на село. Главная улица, растянувшаяся километра на два вдоль большой дороги, вторая, более короткая, параллельная первой, и несколько широких переулков, соединяющих первую улицу со второй и с берегом реки, где тоже лепятся домики, – вот и весь город. Посреди города площадь и на ней – церковь, подальше ещё базарная площадь, больница, почта и несколько лавок». Так описывает место ссыльного житья Вера Павловна в своих воспоминаниях. Кругом – бескрайние завораживающие просторы, волчьи леса да комариные болота; зимой – белая морозная равнина в вечных сумерках; летом неугасающий свет северного неба. Среди всего этого над излучиной песчаного речного берега – деревянные дома, несколько сотен местных жителей да три-четыре десятка ссыльных.

Самое подходящее место для духовного совершенствования.

Но Грин не хотел совершенствоваться. Его жена утверждала впоследствии, что, несмотря на редкие попытки Грина уйти в загул, два года, проведённые в ссылке, были лучшими в их совместной жизни. Он, однако, чувствовал нечто иное. В письме редактору журнала «Пробуждение» Николаю Владимировичу Корецкому он сетует: «Я грущу. Я вспо-

минаю Невский, рестораны, цветы, авансы, газеты, автомобили, холодок каналов и прозрачную муть белых ночей, когда открыты внутренние глаза души <...>. Здесь морозы в 38 гр., тишина мёрзлого снега и звон в ушах...» Ещё более весомое свидетельство угнетённого состояния его духа – малое количество написанного: всего с десятков рассказов за год жизни в Пинеге и полгода в Кегострове близ Архангельска (куда Гриневским разрешили перебраться по их прошению).

Однако надо отметить: среди того немногого, что было написано в ссылке, есть «Жизнь Гнора» и «Синий каскад Теллури». Здесь всё явственнее проступают черты того мира, который в окончательном и совершенном виде будет явлен в классических произведениях Грина. В «Жизни Гнора», рассказе, сюжетно противоположном «Острову Рено» (о человеке, обманом завлечённом на необитаемый остров, вернувшемся к людям через тяжкие испытания и обретшем свою давно утраченную возлюбленную), в финале звучат мажорно-лирические тона, предвосхищающие финальные аккорды «Бегущей по волнам» и «Алых парусов»:

«Как мог я жить без тебя, – сказал Гнор, – теперь я не пойму этого.

– Я никогда не думала, что ты умер.

– Ты жила в моем сердце. Мы будем всегда вместе. Я не отойду от тебя на шаг. – Он поцеловал её ресницы; они были мокрые, милые и солёные».

VIII

Все промежуточные цели обманчивы. Мы стремимся к чему-то, мечтаем об этом, потом, совершая массу усилий, достигаем – и ловим рукой облако: ничего не остаётся, кроме холодной и влажной пустоты.

В ссылке Грин мечтал о Петербурге. Но, вернувшись в мае 1912 года в этот вожденный город, обнаружил, что его литературное реноме вполне определилось и что оно его нисколько не устраивает. За Грином прочно закрепилось место чудака и оригинала где-то в первых шеренгах второго-третьего ряда писательского войска. Его всё ещё (хотя гораздо реже, чем раньше) путали с американской писательницей Анной Кэтрин Грин, чьи детективные романы выходили в русских переводах. Как сам он о себе в это время говаривал (то ли с уничижением, то ли с гордостью): «Я принадлежу к третьестепенным писателям, но среди них, кажется, нахожусь на первом месте».

В литературных рядах, считавшихся первыми, происходили великие события. Публика раскупала очередной том «Ключей счастья» Анастасии Вербицкой. По пьесе Леонида Андреева «Анфиса» была снята фильма, и её уже показывали в кинематографах. Авторитетные критики Пётр Пильский и Корней Чуковский со страниц солидных газет и литературных журналов ядовито жалили Михаила Арцибашева за его роман «У последней черты».

О беллетристике Грине в этих «толсто-идейных» (гриновский термин) журналах упоминали очень редко, а публиковали того реже. Короленко в «Русском богатстве» и Брюсов в «Русской мысли» напечатали по одному рассказу. Зато широко распахнули ему свои объятия издания не особенно притязательные, адресованные бесхитростному, немного даже обывательскому читателю. В их названиях заключено что-то напыщенное и несолидное: «Аргус», «Геркулес», «Бодрое слово», «Синий журнал», «Но вый журнал для всех», «Солнце России», «Весь мир», «Всемирная панорама», «Пробуждение» и вовсе какой-то там «Жизнь и суд» (журнал, впрочем, весьма популярный, в котором печатались переводы рассказов Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе). «Новый Сатирикон» Аркадия Аверченко – наиболее престижное издание из тех, в которых систематически печатался Грин (в 1914–1918 годах), но и тут к нему относились несколько свысока, доброжелательно-покровительственно.

Литературная критика отзывалась о Грине с оттенком пренебрежения и где-то с краю, как бы петитом. Поэт Всеволод Рождественский констатировал много лет спустя, что «А. С. Грин <...> и в начале литературной деятельности, и в период зрелости таланта не принимался всерьёз дореволюционной литературной средой. В основном его считали представителем облегчённо-занимательного жанра и как автору отводили ему место на страницах малопочтенных еженедельников...» Свидетельство Рождественского дополняет Нина Николаевна Грин, вторая жена писателя: «Литературные львы его не замечали, не вдумывались в его произведения или боялись коснуться их, как чего-то настолько не отвечающего общему стилю современной русской литературы, что опасно было, может быть, на статье о нём снижать свой авторитет...»

Однако же пребывание во вторых-третьих рядах имеет кое-какие преимущества. Там больше свободы, там не обязательно держать равнение на литературных генералов. Там можно, шагая не в ногу, затянуть свою песню.

Годы, последовавшие за возвращением из ссылки, были для Грина творчески насыщенными и вполне успешными в плане печатания и заработка. Помимо публикаций в периодике, которые теперь ежегодно исчисляются десятками, выходят и книги: в 1912 году «Приключения Гинча» (Москва, издательство «Эпоха»), в 1913 году Собрание сочинений в трёх томах (Петербург, «Прометей»; том 1 «Штурман “Четырёх ветров”», том 2 «Пролив бурь», том 3 «Позорный столб»); в 1915 году сборники «Загадочные истории» (Петроград, издание

журнала «Отечество») и «Знаменитая книга» (Петроград, «Печать»); в 1916 году «Искатель приключений. Рассказы» (Москва, «Северные дни»).

В этих произведениях перед нами – как принято писать в толстых и скучных литературоведческих трактатах, – предстаёт сложившийся мастер. Некоторые рассказы (например, реалистическая и остросоциальная «Ксения Турпанова», о жизни ссыльных с примесью «полового вопроса», напечатанная в «Русском богатстве») заслужили даже одобрение «литературных львов». Но самое главное осталось незамеченным «толсто-идейной» литературной критикой. А именно: открытие Гринландии. В рассказе (или маленькой повести) «Зурбаганский стрелок» впервые появляются географические контуры и приметы этой опасной и заманчивой страны. Появляется город Зурбаган – живой, шумный, приморский, с портовыми харчевнями, тенистыми садами, «крутыми, сходящими и нисходящими каменными лестницами, ведущими под тёмные арки или на брошенные через улицу мосты». Его черты реальны, он похож на хорошо знакомые Грину Севастополь и Одессу, и, наверно, на Смирну, и на никогда не виданный им Марсель, и ни на что не похож, неповторим. «Гавань Зурбагана была тесна, восхитительно грязна, пыльна и пестра; в полукруге остроконечных, розовой черепицы, крыш, у каменной набережной теснилась плавучая, над раскаленными палубами, заросль мачт; здесь, как гигантские пузыри, хлопали, набирая ветер, огромные паруса; змеились вымпелы; сотни медных босых ног толклись вокруг аппетитных лавок с горячей похлёбкой, лепешками, рагу, пирогами, фруктами, синими матросскими тельниками и всем, что нужно бедному моряку в часы веселья, голода и работы».

Мир, созданный Грином, ярок, тёпл, многоцветен. Это мир южный, мир морей, островов, гор и долин; в нём нет снега, выюги, слякоти, долгих зимних ночей. Он предметно конкретен и в меру экзотичен, что предопределило приязнь к нему со стороны читателей. Мало где читатель так ценит экзотику, как в России, стране бесконечных однообразных ландшафтов, промозглого холода, комариных болот и обыденного цинизма власти.

Итак, мир Грина был сотворён, и в нём уже поселились первые жители – люди жестокие и нежные, решительные, отчаянные и страдающие, со странными, немного вычурными именами и замысловатыми судьбами: Тилли, Зитор и Брюс из «Лужи Бородатой Свиньи», Рег, Изотта, Хенсур из «Синего каскада Теллури», Валуэр, Фильс, Астарот, Биг, Фильбанк из «Зурбаганского стрелка»... Но кого-то (или чего-то) главного не хватало. Какого-то образа, чьё трепетное дыхание передалось бы всему этому миру, оживило его, сделало бы желанным для миллионов читателей.

Взмах волшебной палочки вот-вот состоится – и кто же явится на сцену?

IX

После ссылки совместное житьё Гриневских становилось всё более трудным и шатким, и 1914 году их брак окончательно распался. Через четыре года Вера Павловна выйдет замуж за инженера Калицкого и счастливо проживёт с ним оставшуюся жизнь. Одиночество Грина продлится несколько дольше.

Внешней причиной разрыва стало возвращение Грина к богемной жизни, его пьянство, с которым Вера Павловна не хотела и не могла более мириться. Но имелась причина, не заметная для глаз, она и была главной. В Грине происходила необратимая внутренняя перемена; он становился другим человеком, чужим для Веры Павловны, непонятным ей.

Он становился чуждым и самому времени, истории. Когда-то он был деятельным, хотя и рядовым участником исторических событий; теперь великие катаклизмы, грозящие перевернуть вверх дном бытие человечества, остаются как будто невидимы для его творческого ока. Назревала всемирная катастрофа. Началась Мировая война. За ней во тьме будущего вставали страшные тени революции, войны Гражданской. Всё это практически не отразилось в жизни и в произведениях Грина – если не считать нескольких дежурных стихотворений, опубликованных в начале войны «с германцем», да рассказов «на военную тему», действие которых происходит в условном пространстве, лишь отдалённо напоминающим Францию или Бельгию – отнюдь не русско-германский фронт. В художественном мире Грина, в Зурбагане, Лиссе, Гель-Гью, не случилось ни мировых войн, ни революций. Рассказы «Загадка предвиденной смерти» (1914), «Возвращённый ад» (1915), «Капитан Дюк» (1915), «Птица Кам-Бу» (1915), «Львиный удар» (1916) и многие другие написаны так, как будто бы в истории человечества не совершилось ничего нового. Как будто бы озлобленные народы не сцепились во всеобщем смертоубийстве, как будто в грязных и вшивых окопах не вызревали семена катастрофы, грозящей уничтожить Россию.

Из его творчества уходила и Россия с её смутной душой и надрывной судьбой, с отталкивающими притягательными приметами её повседневной жизни – Грин становился «иностранным в русской литературе». Но история и Россия, выброшенные из мира, созданного Грином, отыгрывались на нём самом. Он избежал мобилизации. Однако же в Петрограде, где литераторы варились в общем котле с депутатами Думы, обиженными сановниками и великосветскими фрондёрами, нарастало оппозиционное напряжение. Полиция усердствовала, действуя при этом вслепую. В ноябре 1916 года политически неблагонадёжный Грин был выслан из Петрограда в административном порядке за «непочтительный отзыв» о государе императоре в общественном месте. На сей раз уехал он недалеко: на станцию Лоунатйоки (ныне Заходское), что в восьмидесяти верстах от Финляндского вокзала столицы; там прожил до конца февраля.

В феврале началась революция. Грин пешком вернулся в Петроград в день свержения самодержавия – с рассказа об этом мы начали нашу книгу. Никаких, однако, существенных изменений в его жизни поначалу не произошло. Те же журналы, те же люди вокруг. Правда, всеобщее бурление заставляло работать в лихорадочном режиме: за полгода последовало три десятка публикаций. Революция стимулирует энергию муз! Грин пытается выступить на поэтическом поприще. Стихотворение «Колокола» печатается в «Двадцатом веке», «Обезьяна» и «Дайте» в «Новом Сатириконе». В мае газета «Свободная Россия» публикует его поэму «Ли» – произведение слабое до смешного, к счастью, тут же забытое читающей публикой. Было ещё несколько стихотворений на революционные темы – все они ничего достойного не добавляют к творческой биографии Грина; поэтом он не стал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.